

МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ ЛЕНИНИАНА



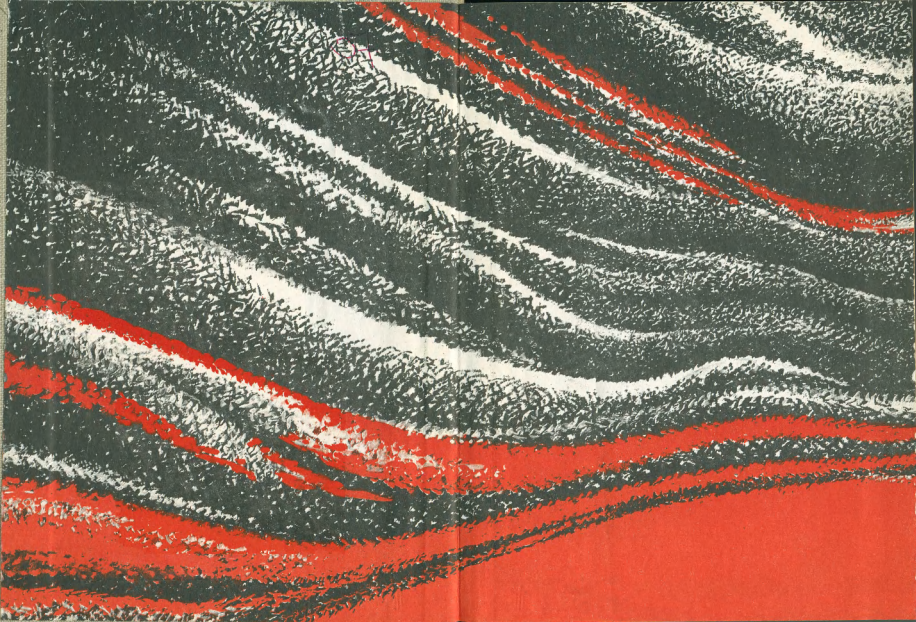
Пролетарият президиум
на комсомола и профсоюзите
на младежите и студентите
на работниците и селскостопанските
кооперации

18/11/1927

ВЕРА
МОРОЗОВА

ПУТЬ
В РЕВОЛЮЦИЮ





**ВЕРА
МОРОЗОВА**

**ПУТЬ
В РЕВОЛЮЦИЮ**

ПОВЕСТИ

**МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1986**

ББК 84Р7—4
М 80

М $\frac{0103020000-148}{078(02)-86}$ 002—86

© Состав, оформление. Издательство «Молодая гвардия», 1986 г.



**МАРИЯ
ГОЛУБЕВА**



ЧТО РАЗРЕШАЕТСЯ В ТЮРЬМЕ

«По Высочайшему повелению 22 августа 1890 года Яснева подчинена гласному надзору полиции на два года, вне местностей усиленной охраны, о чем было сообщено Орловскому губернатору, Московскому генерал-губернатору, Санкт-Петербургскому губернатору, Харьковскому губернатору, Войсковому Наказному атаману Войска Донского, Одесскому градоначальнику...»

Мария Петровна сидела в полутемной канцелярии с портретом государя императора и читала приговор. Начальник тюрьмы, лысоватый, угрюмый, придвинул чернильницу, попросил расписаться. Промокнул тяжелым прессом, рассмотрел завитки, поставленные Ясневой. Размеренным жестом достал из кожаного портфеля новую бумагу, положил ее перед осужденной.

«...Ясневой, как лицу, состоящему под гласным строгим наблюдением, воспрещено, на общем основании, жить в обеих столицах, Петербургской губернии без срока, причем ограничение это может быть снято впо-

следствии по удостоверении местными властями ее безукоризненного поведения».

Начальник тюрьмы указательным пальцем провел черту. Молодая женщина вновь расписалась и поднялась. Значит, ссылка...

Вернувшись в камеру, Мария Петровна устало прислонилась к холодной стене. Неподвижно глядела на каменный пол, натертый графитом до блеска. Кажется, на полу вода, в которой отражается убогая тюремная обстановка: железная койка, табуретка, шаткий стол. Ее предшественник, проведя в камере орловского тюремного замка пять лет, отполировал камень, спасаясь от безумия. Что ее ждет? Как сохранить силы? Разум! К тому же проклятая чахотка...

Девушка вынула из рукава арестантского бушлата гвоздь, начала по памяти доказывать теорему Пифагора.

Резко ударила форточка в двери. Часовой просвистел. Вызвал дежурного офицера. Вместе с офицером вошел в камеру и показал на стену, испещренную формулами. Офицер, небритый, злой, хрипло сказал:

— Заниматься математикой и чертить стены, а также портить казенное имущество по инструкции не полагается!

— А что полагается? — насмешливо полюбопытствовала Мария Петровна, боясь, что офицер обнаружит гвоздь, которым она писала на стенах. Она зажала его тонкими пальцами и еще раз переспросила: — Так что же полагается в тюрьме?

Офицер молча повернулся, хлопнул дверью. Загрел замок. Шаги удалялись. Она села на койку, подавляя раздражение. «Что ж! Неплохо бы размяться!» Подошла к окну, едва светящемуся сквозь лохмотья паутины. Глубоко вздохнула, широко разведя руки, выдохнула. Вдох — выдох... Вдох — выдох... Наклонилась, дотронувшись до скользкого пола. Голова чуть кружилась, ноги побаливали. «Дуреха, как ослабела... Возможно ли запускать гимнастику?!» И опять наклон, наклон...

Открылась форточка. Часовой кашлянул. Мария Петровна повернулась лицом к двери, не прекращая гимнастику. Часовой поднес ко рту свисток, болтавшийся на шнурке. Дежурный офицер явился неохотно. В камеру не заходил, лишь прокричал, сдерживая зевоту:

— Заниматься гимнастикой по инструкции не полагается... Приказываю прекратить!

— А что полагается?! — распрямилась Яснева.

И опять захлопнулась форточка. Ржаво завизжала задвижка. Опять отдалились шаги. Мария Петровна вытерла холодную испарину, взяла железную кружку, сделала несколько глотков. «Что ж! Отдохну... Сердце зашлось!» Она легла на койку, отвернулась к стене. Смотрела на расщелины, заляпанные глиняными заплатами, проступавшими поверх побелки. Сквозь дрему слышала свисток надзирателя, грохот запоров, раздраженный окрик:

— Спать должно, обратясь лицом к двери! — Дежурный офицер помолчал и уныло добавил: — По инструкции прятать руки под одеяло не положено!

Мария Петровна приподнялась, приложив платок к губам, сдерживая кашель, спросила:

— А что полагается?

Офицер повернулся на каблуках, вышел. Девушку душил гнев. Откашлявшись, вытерла кровь на губах. Сбросила одеяло, пропахшее мышиным пометом. Осторожно достала из-под подушки крошечные шахматные фигурки, сделанные из хлебного мякиша. Расчертила стол на квадраты и начала их расставлять. Конечно, требовалось большое воображение, чтобы в этих убогих фигурках признать шахматных бойцов. Особенно нелепа королева. Белый хлеб в тюрьме большая радость. Пока-то соберешь шахматное войско! Спасибо добросердечной купчихе за крендель в воскресный день. Шахматы она любила. Как часто, учительствуя в деревне, под вой ветра и выюги разучивала партии с испанской защитой.

Бережно передвигая фигуры, начала игру. Очарование разрушил офицер, незаметно подкравшийся.

— Играть в азартные игры по инструкции не полагается! — Офицер протянул руки, чтобы взять шахматы.

— Шахматы — азартная игра! — Она задохнулась от возмущения. Затем рванулась, сгребла их и отправила в рот. Офицер сердито шевелил усами, размеренно покачивался с пяток на носки. Арестантка торопливо доедала последнюю порцию. Смотрела уничтожающе зло. Офицер вышел. Девушка скрестила руки на впалой груди и, не отрывая глаз от проклятой форточке в двери, запела:

Хорошо ты управляешь:
Честных в каторгу ссылаешь,
Суд военный утвердил,
Полны тюрьмы понабил,
Запретил всему народу
Говорить ты про свободу,
Кто осмелится сказать —
Велишь вешать и стрелять!

Заливался свисток за дверью. Надзиратель, надув толстые щеки, таращил глаза. Гремел офицер:

— В карцер! В карцер!

Девушка презрительно усмехнулась, плотнее закуталась в платок. У двери бросила:

— Наконец-то узнала, что же разрешается!..

САМАРА

— Значит, вы якобинка?!

— Да, якобинка, и самая убежденная! — ответила Мария Петровна.

Они шли по сонным улицам Самары. Светила луна, полная, яркая, как в первые дни новолуния. Шел 1891 год. Скованная морозцем земля хрустывала под ногами. Мария Петровна поглубже надвинула котиковую шапочку, прижала к груди муфту. Молодой чело-

век осторожно вел свою собеседницу под руку, закутавшись банлыком от ветра.

За чаем у Ульяновых засиделись. Ульяновы жили скромно, на пенсию, получаемую после смерти Ильи Николаевича. Яснева любила бывать в этом гостеприимном доме. Правилась атмосфера радушия и уважения, царившая в семье, простой и строгий уклад. Удивлялась Марии Александровне, невысокой, худощавой, с густыми седыми волосами, ее мужеству, ее стойкости. Старший сын Александр погиб на виселице. Цареубийца! В доме об Александре не говорили.

В этот вечер Владимир разговаривал мало. Сражался в шахматы со стариком Долговым, высланным в Самару по причине политической неблагонадежности, был задумчив. Начали прощаться. Мария Александровна, взглянув на часы, всплеснула руками: время позднее, на улицах пьяная голытьба, да в темноте и ногу сломать недолго... Владимир вызвался проводить. Мария Петровна обрадовалась — на разговор с Ульяновым, братом казненного героя, возлагались особенные надежды. Она была на позициях народничества и очень хотела привлечь на свою сторону и Владимира Ульянова. В ее глазах семья Ульяновых была окружена ореолом. Что исповедует брат казненного народника?! Конечно, он должен быть с нею.

— Проклятое земство! До ручки, как говорится, довели город: улицы залиты грязью, перерыты канавами, а купчины ставят царям монумент за монументом! — сердито сказала Мария Петровна, держась за руку спутника.

Они остановились на краю канавы, неподалеку от Струковского сада. Ноги девушки скользили по замерзшим комьям глины.

— Ни конки, ни трамваи, ни зеленого кустика — ничего не увидишь в «современном Чикаго»! Все забито «минерашками», а попросту тайными притонами по продаже водки... — все так же сердито продолжала Мария Петровна. — В Думе двадцать лет мусолят вопрос о прокладке водопровода! Даже милейший Долгов, земец и ли-

берал, возмущается неповоротливостью отцов города. Купцы боятся конки: займет всю улицу и будет отпугивать покупателей! Вот и логика!

— В Думе занимаются безвредным для государственного строя лужением умывальников! — Владимир помолчал и с сердцем добавил: — Народного бедствия стараются не замечать!

— Наша российская действительность! Чему удивляться?! Лишь десять лет назад на Троицкой площади еще стоял эшафот с позорным столбом... Подлинное средневековье! На грудь жертве привязывали доску, и пьяный палач в красной рубахе брал кнут... — Голос Марии Петровны дрожал от возмущения. — Вы, брат казненного Александра Ильича, обязаны быть с нами, якобинцами!

Владимир молчал. Карие глаза в темноте казались почти черными. Мария Петровна продолжала с жаром:

— Революцию начнет молодежь, члены тайной организации. Народ поддержит, народ к революции всегда готов. Россия должна покончить с вековой спячкой и вступить на капиталистический путь развития. Пока в России нет рабочих, нет и собственного капиталистического производства.

— Значит, в России нет собственного капиталистического производства?! А полтора миллиона рабочих?! — удивился Ульянов.

— И все же у нас нет собственного производства... Нет тех социальных противоречий, которые позволили бы оторвать мужика от земли и превратить его в рабочего, лишенного собственности! — горячилась Мария Петровна. — Народники...

— Народники... Они фарисейски закрывают глаза на невыносимое положение народа, считая, что достаточно усилий культурного общества и правительства, чтобы жизнь его изменилась. — Ульянов, заметив протестующий жест Марии Петровны, повторил: — Да, и правительства, чтобы все направить на правильный путь. Гос-

пода Михайловские, от которых вы впитали сию премудрость, прячут головы наподобие страусов, чтобы не видеть эксплуататоров, не видеть разорения народа.

— Вы не правы! Народники пекутся о благе народа.

— Прав! Позорная трусость, боязнь смотреть правде в глаза, нежелание понять, что единственный выход в классовой борьбе в низвержении общественного строя. И это может сделать только пролетариат. Да, тот пролетариат, рождение которого вы не признаете вопреки исторической действительности. Когда же об этом говорят социал-демократы, то в ответ непристойные вопли... Социал-демократов упрекают в желании обезземелить народ! Где пределы лжи?! — Ульянов снял фуражку и обер высокий лоб платком.

Мария Петровна слушала напряженно, заинтересованно.

— Михайловский острит с легкостью светского пшюта, обливает грязью учение Маркса, которого он не знает и не дает себе труда узнать! С видом оскорбленной невинности возводит очи горе и спрашивает: в каком сочинении Маркс изложил свое материалистическое учение? Выхватывает из марксистской литературы сравнение Маркса с Дарвином и жонглирует. — Голос Ульянова зазвенел от негодования. — Метод Маркса, открытый им в исторической науке, замалчивается. Слона-то он и не приметил!

— Я отдаю должное Марксу... Тут я не разделяю взглядов Михайловского, столь красочно вами обрисованного. Но ведь дело в том, чтобы вырастить самобытную цивилизацию из российских недр, а не в том, чтобы перенести западную цивилизацию. Надо брать хорошее отовсюду, а свое оно будет или чужое — это уже вопрос практического удобства. — Мария Петровна твердо взглянула на Ульянова. — Дело практического удобства, так сказать.

— «Практического удобства»?! Брать хорошее отовсюду — и дело в шляпе! Bravo! Утопия и величайшее

невежество, свойственные народничеству девяностых годов. — Заметив, как нахмурилась спутница, Ульянов резко бросил: — Чушь! Отсутствие диалектики! На общество следует смотреть как на живой организм в развитии, Мария Петровна! У Михайловского дар, умение, блестящие попытки поговорить и ничего не сказать, а строгой политической системы нет.

— Блестящие попытки поговорить и ничего не сказать! — засмеялась Мария Петровна, прикрывая муфтой лицо от ветра. — С вами очень трудно спорить, просто-таки невозможно!

— А вы спорьте, если чувствуете правоту! Есть люди типа Михайловского, которым доставляет удовольствие говорить вздор. — Владимир устало махнул рукой. — Я занят работой утомительной, неблагоприятной, черной... Собираю разбросанные в литературе народников, рассыпанные там и сям намеки, сопоставляю их, мучительно ищу серьезного довода, чтобы выступить с принципиальной критикой врагов марксизма. Временами не в состоянии отвечать на твяканье — можно только пожимать плечами!

— А Маркс в «Капитале» говорит...

— Маркс, марксизм... — Ульянов с легкой грустью продекламировал на отличном немецком языке:

Wer wird nicht einen Klopstock loben
Dorf wird ihn jeder lesen? Nein,
Wis wollen weniger erhoben
Und fleissiger gelesen sein *.

— Никто не производил на меня такого впечатления. А ведь вам лишь двадцать один год! Я старше вас на девять лет. Думала вас, Владимир, обратить в свою веру. — Мария Петровна мягко улыбнулась, протянула

* Кто не хвалит Клопштока? Но станет ли каждый его читать? Нет. Мы хотим, чтобы нас меньше почитали, но зато прилежнее читали.

руку. — А скорее вы меня приобщите к марксизму. Мне нужно много читать, о многом поразмыслить.

— Это хорошо, Мария Петровна.

ОБЫСК

«Я получил прекрасное воспитание — в том смысле, что от меня никогда не скрывали правду и с малых лет приучали любить правду. Мой отец был за правду сослан. Я с трудом кончил гимназию, так как мне были ненавистны та ложь и фальшь, в которой нас держали. Я поступил в университет и стал деятельно заниматься пропагандой между товарищами, стараясь привлечь их к революционной деятельности. Меня исключили из университета. Я стал заниматься пропагандой среди солдат...» Василий Семенович снял пенсне, обхватил голову руками. Вечером перед сном он обнаружил в почтовом ящике конверт с вложенной прокламацией. Последнее слово Балмашева на суде, написанное кем-то на папиросной бумаге фиолетовыми чернилами.

Голубев хорошо знал Балмашева, дружил с его отцом. Мальчик... Худошавый... Больной... И вдруг стрелял с таким удивительным хладнокровием! А что изменилось? Ничего! Министр внутренних дел уже назначен, а юноша Балмашев казнен в Шлиссельбурге!..

«И тогда-то я убедился, что одними словами ничего не поделаешь, что нужно дело, нужны факты. У меня явилась идея убить одного из тех людей, которые особенно много причиняют зла. Я обещал вам открыть на суде сообщников своих. Хорошо, я их назову — это правительство. Если в вас есть хоть капля справедливости, вы должны привлечь к ответственности вместе со мной и правительство!»

— «Привлечь к ответственности вместе со мной и правительство!» — Василий Семенович сбросил плед, которым были укутаны ноги, поднялся. Нет, он не верил, вернее — давно потерял уверенность в возмож-

ности силой вырвать у правительства уступки. Нужно с правительством как-то договориться, используя легальные формы борьбы... Довольно безрассудных жертв!

Невысокий дом в три окна, где поселились Голубевы, стоял на углу Соборной и Малой Сергиевской. Парадное под резным навесом. Окна в нарядных наличниках. Дом оказался удобным. Большие светлые комнаты с высокими потолками. Кафельные печи, выложенные плитам с зелеными цветами.

Под кабинет Василий Семенович оборудовал угловую комнату с двумя окнами, затененными липами. Между окон в простенке — старинный письменный стол. Глубокое кресло, столь любимое, для отдыха. Шкафы с книгами. Дом казался ему таким удобным еще и потому, что на Малой Сергиевской находилась земская управа, а он секретарь управы. К кабинету примыкала детская. Мария Петровна пыталась перевести детскую в более тихие комнаты, выходящие во двор, но Василий Семенович не разрешил. Девочек любил самозабвенно. Леля и Катя... После пяти лет ссылки, голода и лишений наконец-то семья, собственный угол, приличное содержание. Хотелось жить спокойно, заниматься работой, семьей... К тому же Сибирь его отрезвила. Кто он? Песчинка в грозном океане... Его сотрут, раздавят... Чернышевский, не ему ровня, провел в каторге в Кадаи и Александровском заводе семь лет, из которых два года был закован в кандалы. Как-то Василий Семенович подсчитал годы, проведенные Чернышевским в неволе: два года в Петропавловской крепости в ожидании суда, семь лет каторги и двенадцать лет ссылки. Более двадцати лет!..

Сразу же после переезда в Саратов Василий Семенович повел Марию Петровну на Воскресенское кладбище. Там в скромной часовенке из разноцветных стекол, заставленной железными венками, погребен великий Чернышевский. У часовенки отдыхала Ольга Сократовна, его жена. Смотрела, как сыновья поливали цветы.

Мария Петровна низко поклонилась Ольге Сократов-

не. Василий Семенович снял шляпу и так же низко поклонился. Ольга Сократовна не удивилась. Могилу Чернышевского посещали многие. Она ответила на поклон, поблагодарила за розы. Притихшие, озабоченные, супруги Голубевы скрылись в глубине кладбища. Молчали, взявшись за руки. Когда волнение улеглось, Василий Семенович с глазами, полными слез, прошептал:

— Я хочу повторить слова Чернышевского, записанные им в дневнике в день объяснения с Ольгой Сократовной. В то счастливое время он подарил ей скромный томик стихов Кольцова. «Это будет мой первый подарок ей и первый мой подарок женщине... Книга любви чистой, как моя любовь, безграничной, как моя любовь; книга, в которой любовь — источник силы и деятельности».

Мария Петровна благодарно улыбнулась. Василий Семенович стыдился слез.

С особым чувством они выбирали дом на Соборной улице. Здесь умер Чернышевский, возвратившись из изгнания. Вернее, дом выбирала Мария Петровна. Условие одно: дом должен иметь два выхода. Василий Семенович сразу понял его назначение. Он искал покоя, тишины, она — борьбы, бури. Он возлагал надежды на земцев, на легальные формы, она — на революцию, на партию. Так разошлись их пути. Где? Когда? Он не смог бы ответить.

Мысли о жене... Мысли о детях... Его девочки. Леля и Катя. Долгими ночами, работая в кабинете, заходил в их комнату поправить одеяла, послушать сонное дыхание. Они живы, они счастливы. А первая... Смерти ее забыть Василий Семенович не мог. Несчастье случилось в первый год женитьбы. После ссылки в Усть-Удинске, получив проходное свидетельство, поехал в Смоленск. Оттуда написал в Саратов Марии Петровне, с которой познакомился в Сибири. Она приезжала проводить своего учителя Заичневского. Встретила их на этапном дворе, больных, полуголодных. Там и началась их лю-

бовь. Она ответила письмом, а вскоре приехала в Смоленск. Майским днем с волнением подходил он к номерам Алтухина, где остановилась Мария Петровна. Лицо его охлаждала влажная сирень, которую он нарвал. Душистые белые грозди напоминали свадебный букет. Мария Петровна открыла дверь и замерла на пороге... Взмывающе прижала руки к груди. Поняла, что пришел навсегда...

Такой и запомнил ее, такой и берег в своем сердце. Жить в Смоленске оказалось трудно. Квартирu сняли на Петропавловской улице. Полуподвал при городской больнице. Василий Семенович устроился фельдшером. Платили гроши. Уроков Марии Петровне достать не удалось ввиду политической неблагонадежности. Но всего тяжелее надзор полиции. Постоянный. Ежечасный.

Теперь они в Саратове. Удалось достигнуть определенного положения: служба в земской управе, литературная известность. А покоя нет. Мария Петровна член комитета РСДРП, в ее руках связи, явки, транспортировка нелегальной литературы. Конечно, о многом она не говорит, но он догадывается... И отсюда вечный страх: потерять жену — потерять жизнь!

От раздумий Василия Семеновича отвлек звонок. Взглянул на часы. Три. Кто в такой поздний час?! Сердце заколотилось, выступил липкий, холодный пот. Он подошел к окну. Сквозь ставни ничего не смог разглядеть. Но услышал, как по мокрому от дождя листу прошуршала пролетка, осторожное покашливание. Ясно, что у парадного притаились люди. Мария Петровна, накинув шаль на ночную рубаху, прошла в детскую. Под шалью нарядная кукла и сверток.

Звонок дрожал от яростного напряжения. Проснулась кухарка. Полураздетая, заглянула в кабинет, испуганно крестясь.

— Марфуша! Откройте дверь... Узнайте, кому понадобилось ломиться ночью! — проговорила Мария Пет-

ровна, отсчитывая в рюмку сердечные капли Василию Семеновичу. — Ты лежи на диване... Обойдется!

Василий Семенович глядел на нее тоскующими глазами. Боже! А если не обойдется! Если ее увезут?! Что будет с девочками?! Что будет с ним?!

— Обыск, Мария Петровна! — простонала кухарка.

Василий Семенович замер. Ждал. Дверь распахнулась, и жандармский ротмистр, похрустывая ремнями, переступил порог.

— По постановлению полицеймейстера вынужден произвести обыск. — Ротмистр поднес руку к козырьку фуражки.

— Покажите ордер, — потребовала Мария Петровна, кутаясь в шаль. — Болен муж... Вы явились в три часа ночи...

Мария Петровна уложила мужа на диван, сделала холодный компресс на сердце. Решительно поднялась и пошла мимо оторопевшего ротмистра. Вернулась скоро, в капоте и кружевном чепце, с забранными волосами. Ротмистр нерешительно переминался. Действительно, обыски в доме Голубевых участились. Человек уважаемый, семейный. Поговаривают, правда, что все зло в жене...

— Приступайте! Но прошу помнить: муж сердечник, а рядом детская. Девочки могут испугаться ночного переполоха, — заметила Мария Петровна.

Ротмистр пожал плечами, коротко бросил:

— Начинайте! Прежде всего кабинет!

На середину комнаты ротмистр выставил стул, положил шинель. Осмотрелся. Три книжных шкафа. Хватит перебирать до утра. Книги брал неохотно. Немецкие... Английские... Французские... Энциклопедия Брокгауза... Справочники... Земские сборники... В большинстве книг закладки, выписки, подчеркнутые абзацы. Брови ротмистра удивленно взлетели вверх. Бельтов, «Французская драматическая литература и французская живопись XVIII века с точки зрения социологии».

— Бельтов?! — осторожно спросил ротмистр. — Бельтов...

Сердце Василия Семеновича дрогнуло. Бельтов — псевдоним Плеханова. Хранение запрещенной литературы! Как это он недоглядел! Да в корешок еще заделал прокламацию о Балмашеве.

— Бельтов — известный исследователь в области искусства и религии. Книги его имеют широкое обращение среди интеллигентов, — вступилась Мария Петровна. — Ты взял из библиотеки народной аудитории? Знаю, наверняка просрочил. Нужно утром вернуть.

Ротмистр повертел книгу, угрюмо поставил на полку. Василий Семенович облегченно вздохнул. Пронесло! И опять руки ротмистра перебирали в шкафу. Росла на полу гора книг. Мария Петровна не выдержала:

— Может быть, целесообразнее ставить просмотренные книги на прежнее место... Вы же образованный человек и знаете, как трудно приводить библиотеку в порядок. Василий Семенович педант!

Ротмистр кивнул. Городовые начали рассовывать книги по полкам. Ставили косо, переворачивая корешки и путая авторов. Василий Семенович морщился, Мария Петровна презрительно щурила глаза. Обыск продолжался. Выдвинули ящик письменного стола.

— Ради бога! Осторожнее — мои записи... Тезисы... Я потом год не разберусь. Статьи по земским вопросам. — Василий Семенович умолял.

Ротмистр захлопнул крышку. От удара выпал ключ, звякнул об пол. Ротмистр поднялся, хрустнул пальцами. С кабинетом закончено. Нужно переходить в детскую комнату. Василий Семенович приподнялся на локтях. Жандармы — в детскую! Разбудят Лелю и Катю! Испугают! Мария Петровна стояла с серым лицом. Не вытерпела, шагнула наперерез.

— Неужели поднимете девочек! — Голос ее задрожал от возмущения.

— К сожалению, вынужден! — Ротмистр отстранил ее от двери.

В детской тихо светился ночник. Сказочный гном колпачком прикрыл горящую свечу. Чуть слышно бормотала спящая Катя. Положила ладошку под пухлую щеку, сладко всхрапывала Леля. Старшая. Няня, молоденькая девушка, недавно приехавшая из деревни, боязливо натянула на глаза байковое одеяло.

Щупленький жандарм внес зажженную лампу. Уронил колпачок сказочный гном. Леля привстала, испуганно смотрела на чужих людей. На подушке рядышком лежала кукла. Большая. Нарядная. С закрытыми глазами. Леля хорошо помнила, что спать ее укладывали без куклы. Значит, принесла мама. Да, конечно. Мама ее всегда хвалила, целовала, если она, разбуженная жандармами ночью, брала куклу на руки. А сегодня? Леля вопросительно поглядела на маму, встревоженную, непривычно серьезную. Придвинула к себе куклу, не понимая, что происходит вокруг. Чужие люди выкидывали белье из пузатого шкафа, перетряхивали вещи няни. Кто-то толкнул красный мяч, он покатился, путаясь под ногами. Разрушил горку из игрушек, за которой так следила мама. Лишь один ванька-встанька улыбался разрисованным ртом. Няня, открыв обитый железом сундук, торопливо выбрасывала ситцевые кофты, хрустящие юбки в оборках. Леле стало страшно от чужих и неприветливых людей, от грубых рук и разбросанных игрушек... Почему же мама, всесильная мама, не выгонит их из спальни?! Шум разбудил и Катю. Обычно улыбчивое лицо удивленно вытянулось. Катя начала плакать слезами-горошинами. Мама почему-то не подошла к Кате, а молча стояла у косяка двери. Леле стало еще страшнее. Вот так же возьмут ее куклу, которую она даже Кате не доверяет, возьмут и бросят... На полу лежали плюшевый мишка, расфранченная матрешка, цветные кубики. Раскидывали нянюшкину постель. Вот они уже у Катиной постельки. Сдернули кружевные занавески, перевернули

матрац. Катя отчаянно закричала. Няня взяла девочку, сердито оттолкнула жандарма. Леля боялась этих жадных рук. Она поднялась, держась за деревянную спинку. Опустила ноги на холодный пол, подумала и взяла куклу. К Лелиной постели подошел ротмистр. Девочка стиснула куклу и сердито посмотрела.

— Бог мой! Люди добрые! Детей обыскивают! — в голос запричитала кухарка. — Обыск в детской!

— Прекратить! В гостиную! Один на кухню! — резко прервал причитания кухарки ротмистр.

— Пожалуйте! По-жа-луй-те на кухню! За тараканами на печку! Ничего недозволенного не держим! Может, клопов или мышей усмотрите! — бушевала кухарка, подперев крутые бока.

— Уймись, чертова баба! — с сердцем прикрикнул щупленький жандарм.

Однако унять кухарку оказалось нелегко. С кухни доносился ее громкий голос:

— Вот кадка с углем... Чугунок со щами!

Мария Петровна не могла сдерживать улыбки. Прежде чем уйти из детской, она подошла к Леле, крепко ее поцеловала и поспешно вышла на кухню.

Путая русские слова с украинскими, Марфуша с гротом выкидывала кастрюли, сверкавшие начищенной медью.

— Медный таз, пан жандарм! — Она выразительно гроыхнула по начищенному дну. С нарочитой поспешностью Марфуша пересчитывала обливные миски, похожие как близнецы, перебрасывала поварешку, ножи.

Жандарм шарил в кухонном буфете, звенел посудой, хлопал дверцами. Марфуша, сердито толкнув его, прошла к чулану. Сняла с дверцы замок, который вешали от девочек.

— Здесь дрова для плиты... Вечор наколол дворник. Эти поленья для сушки. — Марфуша спрятала руки под фартук.

Ротмистр отстранил ее. Мария Петровна стояла с не-

проницаемым лицом. Сверху лежало полено. Березовое, в черных разводах. Полено как другие. И все же особенное... с искровскими листовками. Найдут — долгий арест... Ротмистр устало махнул рукой. На помощь бросился жандарм. Начал перекидывать дрова, выгребать щепки. Поленья покатались на кухню. Мария Петровна внимательно следила за обыском в чулане. Почему с такой тщательностью они там копаются?! Может быть, что-то им известно? Дрова загородили проход. Жандарм стал их выбрасывать в коридор. Березовое полено, то самое, в черных разводах, подкатилось к ногам Марфуши. Кухарка вскрикнула, отдернула ногу. В чулане крюками приподнимали половицы. И опять тревога — под половицами закопана литература. Получила ее недавно, переправить в Солдатскую слободку не успела...

Ротмистр вылез из чулана, взглянул на часы. Обыск длится четыре часа.

— Заканчивай! — Ротмистр натянул перчатку, улыбнулся Марии Петровне. — Душевно рад, что все благополучно. Разрешите откланяться!

— Думаю, что расстанемся ненадолго! — Круто повернувшись, Мария Петровна пошла в детскую.

МАСТЕРСКАЯ «ПРЯТОК»

Тесовые ворота пахли смолой. Покосилась вывеска, вырисованная славянской вязью. Над калиткой болтался колокольчик. Сквозь редкую изгородь виднелся невысокий дом, столь обычный для городской окраины. Над домом раскачивался скворечник. Свежевыстроганный, как и дом.

Апрельский ветерок сгонял прошлогодние листья с дорожки, проложенной к дому. Краснели набухшие почки деревьев, выпуская крошечные листки. В глубине двора, у разбросанных досок, зеленела кустиками трава. У мастерской стояла подвода, на которую нагружали буфет.

Канатчиков, владелец мастерской, в холщовом фар-

туке помогал мастеровым увязывать покупку. Покупатель, приказчик в сапогах с калошами, осторожно подкладывал солому под буфет, боясь, как бы не повредили дорогой. Вздыхал, шумно торговался, хотя покупка ему явно нравилась.

— Десять целковых! Мать честная, десять! — Цепкие пальцы вновь и вновь приоткрывали крышку.

— А работы-то сколько, милой! — беззлобно отвечал Канатчиков. — Смотри, какие швы. А дверца! Играет! Цветочки словно живые. Материал сухой, простоят сто годов. Внукам пойдет...

— Работа подходящая, но не денежки...

— Мне эти деньги на толкуне дадут с лихвой. Хочется удружить хорошему человеку. — Канатчиков провел рукой по лакированной дверке.

Приказчик полез в карман поддевки с двойным рядом пуговиц. Достал деньги, завернутые в платок. Подержав в потной ладони, отдал. Канатчиков попробовал кредитку на ощупь, посмотрел на свет. Послышался ржавый скрип запоров на воротах, и телега выехала на пыльную горбатую улицу.

Мария Петровна сидела на скамеечке у ворот. На ней потертый сак и черный кружевной шарф. На коленях кошелка с зеленью — петрушкой, луком. Она наминала кухарку из хорошего дома.

— Скуповат, хозяин! Так всю клиентуру растеряешь. Торгуешься, будто скряга. — Мария Петровна покачала головой и неожиданно закончила: — Молодец!

— Такой уж народец навязался на мою душу! Лабазная крыса! Все канючит, канючит! — Канатчиков потрогал светлую ниточку усов. — Счастье, что заказы со стороны берем редко. Комитет работой завалил.

— Нет, со стороны следует брать. Непременно! Так конспиративнее, правдоподобнее. — Мария Петровна озабоченно спросила: — Готово полено?

— Завтра, милая хозяйшка, доставим! — Канатчиков кончил игру и, посерьезнев, кивнул на ступенчатый

костер березовых дров. — Так, говорите, при обыске выручило поленце?..

— Выручило! Поэтому хочу запастись еще одним. — Она хитро улыбнулась.

— Воеводин, спуская пса! — Канатчиков подошел к калитке, навесил крюк.

Из конуры большими прыжками вывалился лохматый пес и затряс тяжелой цепью. Сонно зевнул, потянулся, шаром подкатился к Марии Петровне. Женщина отстранилась, засмеялась. Потрепала рукой по жестким космам. Шарик прижал уши, отскочил и вновь вихрем налетел на Марию Петровну.

— Сами виноваты: испортили собаку! Никакой злости нет!

Пес стоял на задних лапах, умильно крутил хвостом, тихо скулил. В зеленоватых с рыжими искорками глазах преданность, ожидание.

— Получай, разбойник! — Мария Петровна вынула из корзины кулек с обрезками, критически взглянула на пса. — Больно толстоват, братец!

— Ну, опять баловство, — нахмурился Канатчиков. — Кругом собаки как тигры. Злые, поджарые. А наш — карикатура на собаку!

— Зато видом берет. Летит снежным комом, цепью гремит... Разорвет! — Воеводин погрузил пальцы в собачью шерсть.

— Счастье, что соседские куры забредают ненароком. Тут уж Шарик кидается так, что цепь стонет. А лает! Ужас наводит на всю округу. — Канатчиков поднял кольцо, болтавшееся на конце цепи, прикрепил к проволоке, протянутой вдоль забора.

Шарик неохотно поплелся к конуре, опустив лохматую голову и поджав хвост.

Мария Петровна смеялась. Потом покопалась в корзине, достала пакет в серой бумаге.

— Получайте. Двадцать прокламаций. Это Воеводину для завода Гантке... Еще десять номеров «Искры». —

Мария Петровна прищурила глаза и добавила: — Газету нужно беречь, отдавать только в надежные руки. Денег нет. Бумаги нет. С типографией туго...

Воеводин понимающе кивнул головой, запрятал сверток в пахучие стружки, но огорчения своего скрыть не сумел:

— Что так мало?

— Неприятность. Дали одному молодцу, сверток с литературой оказался в полиции.

— Провокатор?! — насторожился Воеводин.

— Нет, стечение обстоятельств.

Воеводин почесал затылок. Вдохнул.

— Показывайте, что придумали. Кстати, тут двадцать рублей на материал. Знаю, что мало. — Мария Петровна не дала возразить Канатчикову. — Денег нет! Касса пустая! Завтра в Коммерческом клубе вечер. Наверняка соберем. Тогда и вам выделим. А пока говорить не о чем.

— Так от вечера до вечера и тянем... — досадливо заметил Канатчиков. — Да, о событиях в Народной аудитории слышали?

— Были в Народной аудитории? — удивилась Мария Петровна.

— Мне как хозяину посещать богопротивные вечера не полагается, а вот Воеводин целый вечер там проторчал.

— Ну уж вечер... На заводе дамы-благотворительницы раздавали билеты. Ребята наши сначала не хотели идти, но мы уговорили. Концерт длинный, скучный. Кто-то начал шутить, что, мол, пора бы скрипачу перепилить скрипку. А дамы млели, глаза закатывали от восторга. — Воеводин рассказывал обстоятельно. — Потом мы не выдержали, сбежали. Поднялись на второй этаж в библиотеку. Стали толковать о заводских делах, пустили по рукам прокламации о стачке на заводе Гантке. Слышим, концерт закончился. Народ повалил в буфет. Мы и надумали... Закрыли поплотнее дверь да как грянем: «Вставай, поднимайся, рабочий народ!»

— Вот так концерт! — довольно заметил Канатчиков.

— Распорядитель с белым бантом влетел как уторелый. Замахал руками, обманули, мол, его доверие. Дружок мой с завода Берга двинулся к распорядителю вчера, — тот ему ровно до пояса — смех! Попятился сейчин испуганно, бочком, бочком — и в дверь. Опять загудела железная лестница. Городовой! Тонкий, худой, глеста в обмороке. Только и виду, что одна пашка. «Что за песни?» — прошипел гусак. Я дурачком прикинулся: «Где, мол, песни? Ничего не слышу». Даже руку к уху приложил. Тут откуда-то студенты, я к ним: «Господин городской какие-то песни услышал!» Те удивленно развели руками, мол, ничего не слышали. Городовой аж позеленел от злости. «Доложу по начальству... Вызову наряд!» — и засеменял вниз по лестнице. А братва вывалилась на балкон, поет. Так, с песнями, и спустилась в зал. Меня осенило — снять шапку и по кругу: «Пожалуйста, деньги для бедных студентов». Народ смекнул, и полетели денежки осенними листочками. Тут мне пора и честь знать.

— Нельзя так рисковать, деньги нужно сразу было вынести! — вставил Канатчиков, как бы объясняя Марии Петровне.

— Понятно, а обидно. Выхожу на улицу, а навстречу катят фараоны. Впереди все тот же комар тонконогий. Постоял я, посмотрел, как из подъезда аудитории начали выволакивать ребят. Первыми — с завода Берга. Студенты кинулись выручать, а их подхватили. — Воеводин от досады сплюнул. — А мне ввязываться нельзя. Деньги на руках.

— В какую часть отправили? Может, удастся помочь? — заметила Мария Петровна.

— В первую часть на Немецкую. Если бы не деньги — не утерпел. Не могу видеть, как братву запикивают в участок. — Воеводин тряхнул головой. — Сво-лочи!..

— Придет время — покажешь кулаки, — примирительно заметил Канатчиков. — А пока потерпи.

— Держите деньги, Мария Петровна. — Воеводин подхватил полено, выбил кляц, достал узелок. — Для «Искры»... Пятьдесят шесть рублей и трехалтынный.

— Спасибо, друг! Спасибо! — Мария Петровна запрятала деньги на дно корзины. — А полено не легковато? — обеспокоенно заметила она. — Нужно вес сохранять.

— А вы попробуйте. — Канатчиков подкатил полено.

Мария Петровна нагнулась. Подняла. На щеках появился румянец. Сказала с укором:

— Жадничаете! Тайник хотите побольше сделать, а зря! Провалите при обысках и загубите такую идею. Вынимайте деревесины поменьше. Вес. Вес не забывайте.

Мария Петровна прошлась по мастерской. Стружка с хрустом давилась под ногами. Запах свежей смолы и скипидара. А вот и «мебель» для нужд социал-демократов. Обеденный стол с отвинчивающимися ножками. В ножках — тайник. Полки для посуды с двойными стенами; передняя вынималась, если знать секрет. Но подлинного искусства достигли в производстве бочек. Бочка залита водой, а в двойном дне — литература! Но вот Мария Петровна удивленно пожала плечами: в красном углу мастерской — портрет Карла Маркса!

— О конспирации совершенно забыли! — сердито обронила она. — На самом видном месте — портрет!

— Как возможно! — деланно возмутился Канатчиков. — Забыть о конспирации.

Воеводин быстро перевернул рамку. На Марию Петровну смотрели пустые водянистые глаза Николая Второго. Канатчиков торжествовал усмехаясь. Мария Петровна не выдержала, махнула рукой. Воеводин хохотал.

В Саратов Канатчикова выслали из Петербурга. Приехал и стал «хозяином» мастерской по производству мебели. Мысль о создании такой мастерской вынашивалась

долго. Конечно, получать «Искру» из-за границы — дело сложное, перевозка требовала подлинного искусства, но сохранить и уберечь ее при обысках — задача не менее трудная.

— Шпиков не видно? — спросила Мария Петровна при прощании.

— Как сказать. Завертелись около нас «клиенты»... Вчера пожаловал господин заказывать диван. Отказали. Милости просим через дорогу к Фирюбину. Так, гад, уходить со двора не хотел, все чего-то крутился, высматривал. — Канатчиков невесело пошутил: — Хотел Шарика спустить.

— Давно началось? — глухо спросила Мария Петровна.

— Да с недельку!

— Мастерская не может провалиться. Понимаете, не должна! Удвойте осторожность. — Мария Петровна сразу будто постарела, глаза потускнели, у рта обозначились глубокие складки. — В случае опасности нелегальщину разнесите по известным адресам. Да что вас учить — ученые! — И, желая переменить разговор, спросила: — Так когда привезете полено?

— Завтра... Завтра доставим. — Канатчиков толкнул ногой бочки. — Может быть, бочку прихватить?

— Давайте, не помешает.

ШТАБ-КВАРТИРА ЛЕНИНА

Петербург бежал знакомыми улицами и площадями. Падал снег. Редкий. Пушистый. Побагровевшее от мороза солнце повисло над Адмиралтейством, зацепившись за золотую иглу. Крупные снежинки падали на холодный гранит набережной. Сверкал матовыми шарами Троицкий мост.

Мария Петровна протерла замерзшие стекла очков. Лицо ее скрывал лисий воротник. Поправила платок, повязанный поверх меховой шапочки, огляделась по сторо-

нам. Лихач повернул на Невский: модные магазины, толпы зевак, живые манекены в зеркальных витринах.

Извозчик важно покачивался на козлах. Ажурной лентой лежал снег на полях цилиндра, на суконной поддевке. Изредка извозчик покрикивал, прищелкивал ремненным кнутом. Стоял 1907 год.

Мария Петровна с удовольствием вдыхала морозный воздух. Она возвращалась из типографии «Дело», принадлежащей Петербургскому комитету РСДРП. В ногах чемодан с нелегальными изданиями, предназначенный для Москвы. Литературу приходилось отправлять частенько: чемодан сдавала на предъявителя, посылая шифрованное уведомление. Сегодня партия особой ценности — в газете «Пролетарий» опубликована ленинская статья.

Типография работала открыто, а нелегальщину печатали хитростью. Полиция частенько наведывалась, но, помимо самых благонамеренных изданий, ничего обнаружить не могла. В печатном цехе кипел свинец, в который при опасности сразу же сбрасывали набор. В типографии Мария Петровна пробыла недолго. Уложив литературу в чемодан, вышла через потайную дверь. Проходными дворами добралась до Казачьего переулкa, взяла извозчика.

От размышлений ее отвлек грохот пролетки. Оглянулась. За ними мчался серый рысак в яблоках. Случайность? Едва ли... Она тронула извозчика за плечо, беспечно попросила:

— Бог мой! Этот наглец решил нас обскакать! Не позволим?!

Извозчик, молодой парень с рыжими усами, озорно осклабился. Ременный кнут засвистел в воздухе. Мария Петровна плотнее надвинула на лоб шапочку. Сани понеслись в снежный вихрь. В ушах свистел ветер. На повороте сани накренились, и Мария Петровна с трудом удержала равновесие. Теперь главная забота — чемодан. Она крепко сдвинула его между коленей. Кажется, оторвались. Женщина откинулась на сиденье, вздохну-

ла. Нет, рано обрадовалась. Вновь по заезженной мостовой приглушенно застучали копыта. Извозчик гортанно прокричал, настигая лошадь. «Да, слежка на лошадях самая страшная — от нее невозможно укрыться», — почему-то припомнились ей слова кого-то из подпольщиков. И, как всегда в минуты опасности, ею овладело спокойствие. Движения обрели слаженность, мысли — четкость. «Выбросить на повороте чемодан! — Она аккуратно сняла очки и уложила их в бархатный мешочек, который носила вместо муфты. — Тогда пропадет главная улика, но «Пролетарий» станет добычей охранки...»

Голубева не оглядывалась, чтобы не вызывать подозрения извозчика, но слышала, как, то затухая, то нарастая, доносился конский топот. Вновь дотронулась до плеча извозчика в снежном эполете, протянула ему трешку. Глаза парня полыхнули смешком. Он поглубже надвинул цилиндр и вновь заиграл кнутом. Впереди у магазина купца Сыромятникова темнел большой сугроб. За магазином начинались на полквартала проходные дворы. Сани набирали скорость, поднимая снежную пыль. Мария Петровна поближе придвинулась к правому краю. Поворот. Крик извозчика, и Голубева, обхватив чемодан, выпрыгнула в сугроб. Снег ослепил, забился за воротник. Она слышала, как пронесся лихач... Тишина. Поднялась и, припадая на правую ногу, скрылась в проходном дворе.

Над Петербургом нависли ранние зимние сумерки. В окнах горел свет. Мария Петровна, оставив чемодан на конспиративной квартире, подходила к своему дому. У тумбы, осевшей под тяжестью снега, топтался паренек. Поняла — свой. Паренек присвистнул, когда Мария Петровна проходила мимо, и, подняв воротник, зашагал по улице. Значит, спокойно.

По отлогой лестнице она поднялась на третий этаж. Позвонила и прислонилась к стене от усталости. Дверь распахнула Марфуша. В белой наколке на густых вью-

щихся волосах, в накрахмаленном фартуке. В ее глазах Мария Петровна прочла тревогу:

— Так долго?! Уже пятый час!

Марфуша помогла снять шубу, ворчала, как обычно, когда волновалась.

— Опять пристав заходил, интересовался. — Марфуша, передразнивая пристава, протянула гнусаво: — «Почему это к барыне так много народу ходят?» Говорю, что у барина был день рождения...

— Смотри, Марфуша! Пристав задумал жениться, — пошутила Мария Петровна. — Ты девушка красивая, сундук с приданым большой, вот он и зачистил.

— А что?! Возьму и выйду. Таких моржовых усов не сыскать во всем Питере. — Марфуша прыснула и, потрогав шубу, посерьезнела: — Мокрая совсем. Где это вас угораздило?

— Целый день под снегом разъезжала по городу!

Мария Петровна поправила волосы перед зеркалом, направилась в столовую. За круглым журнальным столиком сидела Надежда Константиновна. Зеленый абажур мягко освещал волосы, нежный овал лица. Она казалась утомленной и усталой. Поправив брошь на кружевном жабо, Мария Петровна радостно протянула руки. Потом заторопилась к портьерам, наглухо задвинула их.

— Так сложились обстоятельства, что завернула пораньше. — В больших глазах Крупской тревога.

Марфуша принесла на подносе фарфоровую супницу, блестящий половник, тарелки. Постелила свежую скатерть и, не спрашивая разрешения, поставила закуски, разлила суп.

— Дети уже пообедали, — Марфуша разложила хлеб и, обернувшись в дверях, сказала: — Перед вторым позвоните.

— Славная она у вас. — Надежда Константиновна тихо отодвинула кожаный стул. — Давно живет?

— Вместе приехали из Саратова. Девочки выросли на

ее руках. Заботлива, как наседка. Сегодня сердита — переволновалась. Погоня за мною была на извозчике.

— Думается, что вам на какое-то время лучше не показываться в городе... — Надежда Константиновна не договорила. Глаза ее, лучистые, с золотистыми зрачками, выразительно остановились на собеседнице.

Мария Петровна согласно кивнула головой. Она сразу поняла, о чем говорила Надежда Константиновна: «на какое-то время» квартира Голубевой стала штаб-квартирой Ленина.

— Я оставила только самые неотложные дела, — помолчав, ответила Мария Петровна.

— И их лучше прекратить, — мягко заметила Надежда Константиновна. — Хотите послушать, как делается конституция? Берут несколько «верных слуг отечества», несколько рот солдат и, не жалея патронов, всем этим нагревают народ, пока он не вскипит. Мажут его... по губам обещаниями. Много болтают, до полного охлаждения и подают на стол в форме Государственной думы без народных представителей. — Надежда Константиновна нахмурилась и закончила: — Очень невкусно.

Мария Петровна засмеялась. Она была благодарна, что Надежда Константиновна так просто перевела разговор. Крупская хрустнула листовкой, и опять послышался ровный голос:

— Как составляют кабинет министров. Берут, не процеживая, несколько первых встречных, усиленно толкут, трут друг о друга до полной потери каждым индивидуальности, сажают в печь и подают горячими на стол, придерживаясь девиза: «Подано горячо, а за вкус не ручаюсь!»

— Вполне прилично, — отозвалась Мария Петровна, подкладывая на тарелку закуски. — Вы чем-то встревожены, Надежда Константиновна?

— Обстановка сейчас для Ильича в Петербурге весьма тягостная. Боюсь неожиданностей. Недавно переволновалась основательно. В одном из переулков между Мой-

кой и Фонтанкой состоялось собрание, туда и Ильича пригласили. Времени мало, я торопилась, а в переулке меня неожиданно встретил Бонч-Бруевич, озабоченный и встревоженный. «Поворачивайте. Засада». У меня ноги подкосились. «А Ильич?» — спросила я. «Ильич не приходил. Нужно перехватить его на подступах. Тут я кое-кого повстречал, разослал по переулкам, предупредите и вы, если сможете». Бонч-Бруевич скрылся, а у меня сердце замерло. А если не успеют предупредить, если уже попал в засаду! Решила караулить. У Александринского театра шпики. Вдали сутулая спина Бонч-Бруевича. Он хитрил, заходил в магазин, устанавливал наблюдение, а Ильича нет. — Надежда Константиновна подняла усталое лицо. — Ноги замерзли, начался какой-то противный озноб. И вдруг Бонч-Бруевич, сияющий, улыбающийся. Сразу поняла: спасли...

— Да, в столице становится все опаснее для Владимира Ильича, шпики попросту за ним охотятся. — Мария Петровна с грустью взглянула на Надежду Константиновну и подумала: каково ей приходится — жизнь по подложным паспортам, скитания по явкам, вечные тревоги за близкого, дорогого человека!

— В своем проклятом далеке, в эмиграции, как часто мы мечтали о возвращении на родину. Когда узнали о революции, то еле паспортов дождались. — Надежда Константиновна закуталась в пуховый платок, прошла по комнате. — Владимира Ильича очень обескураживает эта жизнь по чужим углам, более того, мешает работать. А что делать?! Поначалу поселились легально на квартире, подысканной Марией Ильиничной по Греческому проспекту. Шпики, как воронье, закружили. Хозяин всю ночь ходил с револьвером — решил защищаться при вторжении полиции. Ильич боялся, что попадем в историю, — переехали. Видимся урывками, вечные волнения. Хорошо, что удалось достать приличный паспорт. Была еще квартира где-то на Бассейной — вход через кухню, говорили шепотом.

В голосе Надежды Константиновны звучала грусть. Конечно, устала от такого напряжения — обычно она никогда не жаловалась.

— А возвращение из Москвы! Подошла к дому, где жил Ильич, и ужаснулась — весь цвет столичной охраны. За собой я никого не привела. Значит, их привел Владимир Ильич! Действительно, в Москве переконспировали: посадили его в экспресс перед самым отходом, дали финский чемодан и синие очки. Охранка всполошилась — экспроприатор! С каким трудом удалось подобру убраться из той квартиры!

Они ходили по комнате обнявшись. Потрескивали дрова в камине, вспыхивали огненными языками, сливаясь в ревущее пламя. Надежда Константиновна опустилась в низкое кресло, поставила ноги на чугунную решетку. Она прикрыла глаза рукой. Мария Петровна принесла с оттоманки расшитую подушку, положила под голову, закутала ее ноги пледом. До заседания ЦК оставалось полчаса. Мария Петровна радовалась, что она может предоставить отдых Надежде Константиновне, отбывавшей, по шутливым словам товарищей, революционную каторгу.

— Разбита ли революция в России, или мы переживаем лишь временное затишье? Идет ли революционное движение на убыль, или готовится новый взрыв, копя в затишье силы? — таковы вопросы, стоящие перед российскими социал-демократами. — Владимир Ильич, заложив правую руку в карман, обвел присутствующих долгим взглядом. — Марксисту неприлично отрываться от этих вопросов общими фразами. Мы остаемся революционерами в настоящий период. Кстати, легче предсказывать поражение революции в дни реакции, чем ее подъем!

Надежда Константиновна неторопливо водила карандашом, наклонив голову. Откинулся в кресле Бонч-Бруевич, не отрывая от Владимира Ильича изучающих глаз. Пощипывал аккуратные усики Буренин. Облокотилась на

стол Мария Эссен, подперев подбородок рукой. Лицо ее с большими серыми глазами задумчиво и строго. Мария Петровна, положив перед собой очки, напряженно слушала. Шло заседание Центрального Комитета. В комнате тишина, только слышался громкий ход настенных часов да голос Владимира Ильича.

— Отношение к революции является коренным вопросом нашей тактики. Его-то в первую голову должен решить предстоящий партийный съезд. Или — или. Или мы признаем, что в настоящее время «о действительной революции не может быть и речи», — голос Ильича, цитирующего меньшевиков, звучал неприкрытой издевкой. — Только должны во всеуслышанье заявить об этом, не вводить в заблуждение ни самих себя, ни народ. Тогда должны снять вопрос о восстании, прекратить вооружение дружин, ибо играть в восстание недостойно рабочей партии. Или мы признаем, что в настоящее время можно и должно говорить о революции. Тогда партия обязана организовать пролетариат для вооруженного восстания. Кто за восстание, с теми большевики, кто против восстания, с теми мы боремся беспощадно, отталкиваем от себя как презренных лицемеров и иезуитов!

— А Плеханов... — Мария Петровна, не договорив, посмотрела на Владимира Ильича.

— Плеханов... — Ленин наклонился вперед и резко закончил: — Свобода не дается без величайших жертв, без величайших усилий... Попрошу товарищей высказываться по этому вопросу.

Заседание Центрального Комитета партии продолжалось.

НА КОНСПИРАТИВНОЙ КВАРТИРЕ

Наступил 1919 год.

Дождь монотонно стучал по стеклу. Мария Петровна стояла у окна, закутавшись в пуховый оренбургский платок, который спасал ее во всех испытаниях. Глаза тоскли-

во смотрели на улицу, залитую дождем. Вот она, осень. Холодный ветер, нахохлившиеся птицы, тягучий мелкий дождь. В серое небо вкраплялись уцелевшие листья. Растягивались облака, окутывая золотой крест церквушки. А кругом невысокие дома, так отличающиеся от петербургских громад. Москва, вновь Москва, куда она переехала в этот трудный, голодный 1919 год.

Настенные часы отбили двенадцать. Позолоченная птичка выпрыгнула на резное крылечко, замахала крылышками. Часы появились в квартире недавно, и Мария Петровна все не могла привыкнуть к их громкому бою. Два. Птичка замерла. Лишь хвост продолжал раскачиваться. Пора собираться. Сегодня она назначила встречу на Гоголевском бульваре Юре, с которым не виделась второй месяц. Мальчик тосковал, не понимая, почему ушла из дому мать... Ушла. Вновь ушла! Леля и Катя выросли. А вот Юра? Юре только тринадцать, он младший — вся материнская любовь, вся нежность ему. С Юрой связаны последние воспоминания о муже. Сын родился, когда Василий Семенович отбывал в «Крестах» заключение за опубликование в газете статьи, попавшей под запрет цензуры. Тогда при свидании в тюрьме у Василия Семеновича на глазах выступили слезы. Сын! Как нежно поцеловал он ее, осунувшуюся после родов, как жадно прижал мальчика! И только когда под пикейным одеяльцем нащупал письма — их следовало передать в тюрьму, — лицо его болезненно скривилось. Упрекать жену после родов не хватило сил, но понять также не мог. «Зачем? — спросил свистящим шепотом, улучив момент, когда надзиратель отошел в дальний угол свиданной комнаты. — Сына-то, сына-то пожалей. Меня не берегла, девочек... Теперь вот и крошку... — Худое лицо его стало жалким, тонкими пальцами смахнул слезы и с неожиданной страстью закончил: — Я скоро умру... Сердце ни к черту! Ты никогда не считалась со мной! Прошу об одном: сбереги сына. Пускай по земле пошагает Юрий Васильевич Голубев...»

Мария Петровна провела рукой по глазам, отгоняя непрошенные воспоминания. Вскоре после этого разговора муж умер, оставив ее одну с детьми, слова же его всегда отдавались в груди щемящей болью. Детей она старалась беречь: все дорогое, заветное — им одним, особенно Юре. Да и девочки к малышу относились нежно, ласково. Сын удивительно напоминал мужа, такой же впечатлительный, кроткий. И вот пришлось оставить его в такие тревожные дни одного.

Дождь припустил сильнее, прикрывая мокрой пеленой стекло. Мария Петровна все еще стояла у окна и волновалась. Неужели не перестанет дождь, как же тогда быть со встречей? От Лели, старшей дочери, она знала, что Юра прихварывал, голодал, а главное — скучал. Она решила встретиться, чтобы успокоить мальчика. Дни стояли сухие, освещенные последним солнцем, а сегодня ливень. Впрочем... Досадливо наморщив лоб и сбросив платок, начала натягивать пальто, поглядывая на кушетку, громоздкую, затканную серебром. На резной спинке выделялись медальоны с львиными головами и танцующими нимфами — кушетка из царских покоев. Да и вся обстановка комнаты до сих пор вызывала удивление: дорогие вещи, редкие картины, бронза, хрусталь. Комендант Кремля явно не поскупился, когда вывозил их из царских палат. Даже, к ее великому удивлению, оказались простыни с царскими монограммами.

Голубева вновь готовилась перейти в подполье. Теперь она дворянка, ограбленная и обездоленная большевиками. Мария Петровна видела, как блеснули глаза у старого чиновника, подселенного в квартиру по ордеру. Он долго пожимал руку, сказав, что сразу почувствовал в ней человека своего круга, ругательски ругал новую власть, большевиков, расспрашивал об имени, которое она «потеряла» где-то на Херсонщине, доверительным шепотком передал, что Деникин не сегодня, так завтра займет Москву. Она удивленно приподняла брови, ничего не сказала. Чиновник размашисто перекрестился и гаденько рас-

смеялся. Да, Деникин угрожал Москве! Это Мария Петровна знала лучше чиновника. По улицам маршировали рабочие отряды, плотное кольцо стягивалось вокруг города все туже. Москву готовились защищать до последней капли крови.

Создавался второй фронт — возникали конспиративные квартиры, разрабатывались пароли, явки, создавались склады с оружием. В Центральном Комитете партии возглавлять подпольную сеть в случае необходимости поручили Марии Петровне, хозяйке столь многих конспиративных квартир. Вот почему она оказалась в этом барском уютном доме, вот почему пришлось уйти из семьи, порвать связь с детьми. Как солдат, она уже на передовой...

Всю дорогу от Староконюшенного переулка до Гоголевского бульвара, где назначена встреча, она торопилась. Дождь затихал, и по желобам домов журчала вода. Проглянуло солнце, и по лужам запрыгали солнечные зайчики, как озорные мальчишки. От арбатской мостовой, выложенной крупным булыжником, поднимался пар. Дома, умытые дождем, помолодели. На заколоченных парадных подъездах белели обращения к населению за подписью Дзержинского. На гранитном розовом постаменте наклонил голову Гоголь. По каменному лицу сбежали капли дождя. Широко раскинули ветви тополя с пожелтевшими листьями, темнели набухшими стволами.

По привычке заложив руки за спину, Мария Петровна медленно побрела вдоль бульвара, тяжело вороша мокрый лист. Бульвар оживал. Высыпали обычные посетители: кормилицы в плюшевых жакетах, детишки в ярких капорах. Мальчики запускали корабли в лужи. Старая женщина мягко улыбалась. Дети были ее болью, ее счастьем. Ради них молоденькой девушкой она пошла в земские школы, учительствовала в Костромской губернии. Сколько детского горя и детских слез повидала она за свою долгую жизнь... Война... Революция... Снова война, теперь уже гражданская. Деникин угрожал Москве. Деникин на пороге. Бои с Деникиным за Тулу...

И опять мысли Марии Петровны вернулись к детям, теперь уже собственным... Жизнь ее почти завершена, и упрекнуть себя она может не во многом. Единственно, что мало радости принесла своим детям, мало времени уделяла им, мало заботилась о них. Ее первенец Таня умерла шести месяцев от роду. Они жили тогда в Смоленске: она под гласным надзором, а Василий Семенович вернулся после ссылки из Сибири. Без денег и без работы. У Василия Семеновича открылся туберкулез. Комнату сняли при местной больнице, кашлял он отчаянно, и она боялась за его жизнь. В больнице платили гроши — земство ловко использовало отсутствие диплома. А тут роды... Роды принимала Мария Эссен, известная подпольщица, дружба с которой прошла через многие годы. Кажется, эти роды оказались у акушерки Эссен первыми и последними. Она стала профессиональной революционеркой. Девочка умерла от менингита, не спасла ее материнская любовь. А потом родилась в Саратове Леля, а через год — Катя. Обычно в доме Голубевых шли один за другим, переворачивали весь дом, и лишь детскую осматривали поверхностно. Она стала прятать брошюры и прокламации в детские кровати, тонкие листы с адресами и явками — в кукольные головки. Как часто при обысках стояла Леля в ночной рубашонке, прижимая к груди куклу... Вспомнила пароход со смешным названием «Милосердие». В город пришел транспорт «Искры». В каюте сидела Эссен, за ней велась слежка. Нужно спасти нелегальщину так, чтобы не вызвать подозрения полиции. Раздумывать было некогда, и Мария Петровна решилась. Одеда девочек в нарядные плюшевые пальтишки и повела на пристань. Солнечным днем поднималась она на пароход «Милосердие» к Эссен по шатким сходням, там, в каюте, в двойную подкладку детских пальто рассовала листовки, обвязалась нелегальщиной и сама. Катя попробовала бежать, зацепилась, едва не упала; городской с торчащими усами подхватил девочку, снял со сходней. У Марии Петровны екнуло сердце, невозмутимая Эссен побледнела, и лишь

Катя, довольная, перебирала в воздухе ножонками. Да, рано повзрослели ее дочери. Память перелистывала страницы былого. Сенат приговорил Эссен к каторге, которую впоследствии заменили долгосрочной ссылкой. В ссылку Эссен идти не хотела. «Работы не впрокорот, а здесь ссылка!» — писала она Марии Петровне из тюрьмы. Нужно было организовать побег. Тюремный режим пересыльной тюрьмы строг: свидания давались в исключительных случаях и непременно в присутствии надзирателей. Все попытки передать нужные для побега вещи заканчивались неудачей. Тогда в комнате для свиданий под видом родственницы появилась Мария Петровна с девочками. Комната оказалась небольшой, полутемной. Надзирательница, пожилая женщина, угрюмо молчала. И в этой свиданной — ее девочки в пестрых батистовых платьях, похожие на бабочек. Леля держала в руках букет, а Катя — куклу с изумленными глазами. На дубовую скамью уселись рядышком: Эссен, семилетняя Леля, Мария Петровна, Катя. Болтушка Катя завладела надзирательницей. Мария Петровна видела, как разглаживалось лицо угрюмой женщины, как оживала на ее лице улыбка. Вот она поправила бант на завитых кукольных волосах. «Кажется, все благополучно!» Катя без умолку болтала. Надзирательница не отводила глаз от оживленного детского лица, все реже посматривала на беседующих, все меньше прислушивалась к их разговору. И тут наступило главное — Леля протянула букет. Казалось, Мария Петровна закричит от напряжения, нервы ее не выдержат. В букете — кинжал, о нем так просила Эссен. Словно в полусне, Мария Петровна увидела, как Эссен взяла букет, прижала к груди девочку, поцеловала. В ее больших серых глазах — напряжение, она понимала, как рисковала Мария Петровна. И вновь обостренно прислушивается Мария Петровна к разговору Кати с надзирательницей. Быстрый детский лепет и неторопливые вразумительные слова надзирательницы. Осталось передать плед, начиненный, словно пирог, явками, деньгами.

Предусмотрено все, что потребуется Эссен, прежде чем удастся скрыться за границу. Мария Петровна протягивает плед надзирательнице, боясь возбудить подозрения и в душе надеясь на удачу. Катя капризно отпихивает этот плед, громко смеется, глядя, как надзирательница укачивает куклу. Правда забавно. Женщина раскачивалась всем телом, крупной ладонью прихлопывая по воздушным оборкам. Плед проверять не стала, кивнула головой — чего, мол! Глаза подруг встретились, на плечо Марии Петровны легла теплая ладонь. Эссен благодарно улыбнулась. И опять не по-детски серьезное лицо Лели, и опять оживленный смех Кати... Вот она, жизнь ее девочек!

Шагает по бульвару Мария Петровна, ворошит сырой осенний лист, будто переворачивает страницы своей многотрудной жизни. Был и еще один сын. Он умер, когда она строила баррикады у путиловцев в девятьсот пятом. С каким укором смотрел на нее Василий Семенович: не уберегла... Она и сама плакала...

Юру она увидела сразу, как только он подошел к памятнику Гоголя. Немного поодаль Леля, Катя. Они не здороваются с матерью, делают вид, что не замечают ее. Милые мои девочки! Юра проводит рукой по тяжелым цепям. Серый башлык сползает ему на глаза.

— Юша! — почти беззвучно шепчет Мария Петровна, пытаясь подавить волнение. — Юша!

Мальчик поворачивается и кидается в ее объятия. Она проводит рукой по мокрому от слез лицу, сжимает худенькие плечи, чувствует, как они содрогаются от рыданий. Горький ком подкатывается к горлу. Она не плачет, нет, лишь хмурится и крепче прижимает сына.

— Полно... Успокойся, мой мальчик! — Мария Петровна увлекает его на скамью. — Сырость разводишь, а на бульваре и так мокро! Смотри, как воробышки радуются солнышку.

Мария Петровна старается отвлечь мальчика, но Юра качает головой и судорожно целует ее руки.

— Ты приехала, мамочка?! Приехала?! Больше не расстанемся?! — Глаза с надеждой смотрят на мать.

— Приехала... Только придется вновь уехать. — Детям она никогда не говорила неправду и, тяжело вздохнув, повторила: — Придется...

— Но почему?! Почему?!

— Нужно, сынок! — Она гладит его по плечу, тормозит челку волос. — Расскажи лучше, как живешь. Ты воблу получил? Мой подарок... А в столовой какой суп берешь: «без ничего» или «ни с чем»?

Юра смеется. Шутки взрослых в совнаркомовской столовой о супе, сваренном из тощей воблы и гороха, всегда веселили его. Мария Петровна это знала и обрадовалась его радости.

— Один день беру «суп без ничего», а другой «суп ни с чем».

Теперь смеется и Мария Петровна, удивляясь, как забавно звучат слова Бонч-Бруевича в устах мальчика.

— Ты береги себя, Юша. Я в трудной дороге, но известия о тебе получаю, и мне будет больно, если с тобой что-нибудь случится. Так-то, сынок... Слушайся Лелю и Катю. Может, тебе с ними придется скоро уехать.

— А ты? — перебил ее Юра. — Ты как же?

— Зачем задавать вопросы, на которые нельзя ответить? — возразила Мария Петровна и, заметив, как насунился мальчик, попыталась его успокоить: — Через недельку увидимся... Непременно, Юша...

Юра прижался сильнее, обхватил шею матери, закрутил головой. Из глаз закапали слезы. Мария Петровна укоризненно взглянула, решительно отстранила и глухо повторила:

— Пора!



**ТАТЬЯНА
ЛЮДВИНСКАЯ**



В БУКОВОМ ЛЕСУ

Солнце широко разбросало лучи, заливая луга. Яркая зелень. Ликующее многоцветье. Небо бездонное. Голубое. Лишь с запада наползают облачка, но и их засасывает голубизна.

Безбрежный луг благоухал травами. Пахучими. Сладковатыми. Островками застыли ромашки. Солнечные. С бархатными сердцевинками. Наклонились колокольчики, стараясь укрыться в траве от палящего солнца. Печальные. Атласно-фиолетовые. Пестрели желтые озерки куриной слепоты. Неподалеку от тропки скошенное сено в высоких копнах. Благодать!

Татьяна Людвинская щурила от удовольствия глаза, наслаждаясь ароматом трав и цветов. После тюрьмы на все смотрела другими глазами. Раньше-то она не очень ценила высокое небо и ясное солнце. Светит и светит — на том и мир стоит, но теперь, наглядевшись вдоволь в одесской тюрьме на небо через ржавую решетку, она поняла, что природа — высшая милость.

Впереди тяжелым шагом шел цыган, из контрабандистов. Угрюмый. Смахивающий на медведя. С медной серьгой в правом ухе. Он должен был указать тайник с транспортом литературы. Контрабандисты нарушили условия договора — перевезли транспорт через границу и бросили. Сложили в тайник и ни на какие уговоры не соглашались. Ожесточенные. Падкие на деньги. Спасибо, транспорт сохранили; могли бы уничтожить, а потом сочинить историю о похищении. И такое бывало. На границе введены дополнительные строгости. Созданы летучие отряды из столичных жандармов. Таможенники озверели. Контрабандистов и тех напугали. Транспорт контрабандисты переправляли неохотно и укрыли в буковом лесу. Вот и вышагивает долгие версты Танюша вместе с цыганом по имени Егор, чтобы сыскать то заповедное место, узнать, а потом привести рабочих: их-то никакими строгостями не испугаешь.

За крутинкой с разросшимся орешником блеснуло озерцо, затянутое ряской. Значит, родничок.

Девушка прибавила шаг. Хотелось пить. Горло пересохло, губы обветрели. И правда, родничок! Тихо журчала вода. Прозрачная. Хрустальная. Девушка наклонилась и опустила руки. Ба, ледяная! Рассмеялась от счастья. Ополоснула лицо. Подозвала Егора. Тот сложил ладони, пил крупными глотками. Провел рукавом рубахи по губам. Кажется, подобрел.

— Славно, Егор! — Людвинская сияющими глазами показала на зеленую ширь и сдернула с головы ситцевый платок.

— Денек как денек... Коли тучи прикрыли бы солнце, легче бы шагалось. — Егор сплюнул и сердито посмотрел на небо. Помолчал и с лихой удалью заметил: — Цыган больше темные ночи любит!..

— Темные ночи?.. — не сумела скрыть своего удивления девушка.

— Да, темные ночи и непогоду! — Егор усмехнулся. — Вот так, моя красавица!

— Егор, зачем вы из себя злодея делаете? — миролюбиво заметила девушка. — Такому доброму дню — и не радуется?

— Добрый-то он добрый... — Цыган достал из широких шаровар кисет с махоркой. — Только не про нас этот денек.

— Что же так, Егор? Человек сам решает, по какой дороге путь держать... — Татьяна прищурила карие глаза, будто хотела получше рассмотреть цыгана. — Цель в жизни должна быть! Понимаешь? А без цели какая же жизнь!

— Какая цель, красавица? Да и что это такое? Цыган деньгу любит!.. — Угольные глаза его озорно блеснули.

— Смотря за что деньгу-то получать. Дело делу рознь...

— Кончай волынку, красавица. — Цыган затаился самокруткой. — Мы вас, политиков, не знаем, и вы нашего брата не трогайте. Мне и так в таборе чуть башку не проломили, когда пронюхали, каким делом занялся. Нам давай чистую контрабанду — табак, духи, чулки... За ваши книжонки на каторгу угодишь, коли зацапают, не откупишься от таможенников. Боятся, природы, и взятки не берут. — Цыган оживился. — Таможенники что волки: норовят с цыган три шкуры сорвать. Ворюги, хуже лютого разбойника. С чистой контрабандой цыган всегда с подарочком к таможеннику: примите, мол, не побрезгуйте, милостивец наш!

— Ну и берут? — Тонкие брови Танюши иронически приподнялись.

— Ого, еще как берут! Волки так хорошего коня рвут, коли тот оступится на узкой тропке. Иной поднесет к твоей роже растопыренные пальцы, а ты радехонек — вот так сквозь пальцы и будут смотреть за цыганом. — Егор с размаху ударил себя ладонью по колену и ухмыльнулся. — А беда, коли узнают, что цыган начал книжонки перевозить. В кутузку — и никаких разговоров. Какие-то бумаги прочитают — и в кандалы. Прощай, свобода!

В Сибирь с бритым лбом! Тут и деньги не помогут. Нет, книжонки — дохлое дело, и настоящий цыган за это не возьмется, красавица.

— А как же ты? — не удержалась от вопроса Людвинская.

— Черт попутал, — уныло отрезал Егор. — Жадный больно до денег.

Как странно устроен этот мир! Почему одним до всего есть дело, каждая человеческая боль есть их боль, каждое страдание и несправедливость вызывают гнев, а другим, хоть трава не расти. «Откуда это равнодушие, боязнь?» — мучительно раздумывала девушка, поглядывая на лениво ползущие облака. Она лежала в траве, положив руки под голову. Башмаки она сбросила и полна была чувства убагодворенности и покоя, которое может испытать человек, отшагавший по жаре долгие версты. Счастливо потянулась и вновь принялась рассматривать облака. К огромному облаку, напоминавшему скачущего всадника в лихой бурке, приближалось маленькое облачко. Приближалось быстро, будто гналось за великаном. Вот настигло его и сразу исчезло, только у сказочного коня появилась грива. И опять скакал по небу великан-всадник, пока не слился с темнеющими тучами, словно въехал в дремучий лес.

Таня привстала, размяла уставшие ноги. Покосилась на цыгана. Ну вот этот цыган. Его еще можно понять — деньги, деньги... А обыватели среди интеллигентов! Им дано все, а они сидят в скорлупе и всего боятся. Почему? Пустить переночевать и то страшатся! И припомнился ей день, когда она, измученная и голодная, пересаживалась с конки на конку, пыталась уйти от преследования. Шпики взяли ее в клещи и не давали передышки. Исколесила она добрую половину города, но отделаться от «хвоста» не могла. Наконец ухитрилась добраться до улицы, на которой находилась квартира зубного врача. Врач был не просто знакомый, а, как она считала, единомышленник. Частенько поругивал существующие порядки,

рассказывал едкие политические анекдоты. Она была в нем уверена и даже предложила использовать его квартиру для явок. В комитете согласились. И вот, спасаясь от шпики в тот злополучный день, она на ходу соскочила с конки. Шел дождь, и мостовая была скользкая. От волнения она плохо рассчитала, упала и больно разбила колено. Шпик следом вынырнуть не рискнул. Превозмогая боль, она скрылась в ближайшем проходном дворе, благо знала их наперечет. Нырнула в заветное парадное, убедившись в отсутствии слежки, и дернула ручку звонка. Дверь отворила кухарка. Полная добродушная женщина. Попятилась со страху. Девушка мельком взглянула в зеркало: платок сбился на ухо, волосы прядями падали на лицо, глаза лихорадочно блестели, как у затравленного зверька, а главное — она промокла до нитки. Вода стекала с жакета, и на паркете расплзлась широкая лужа. Врач нервными пальцами поправлял пенсне, которое упорно не желало удерживаться на крупном носу, подбородок вздрагивал, а голос прерывался от возмущения:

— Сударыня, как возможно в таком виде? Очень сожалею, что вы так дурно распорядились моим благорасположением.

Татьяна была ошеломлена и с трудом постигала смысл этих высокопарных слов. Ясно одно — ее выгоняли на улицу. Вот тебе и либерал, так называемый сочувствующий! А он ведь понимал, что ее поджидают на улице и наверняка арестуют. Бешено заколотилось сердце. Боль и обида обожгли ее.

— А вы, оказывается, трус! В революцию вздумали играть! — не выдержала Людвинская.

Положение спасла кухарка. Она взяла девушку за руку, с укором посмотрела на хозяина:

— Грех, барин, не приютить ближнего... А ты, касатка, не серчай! Бог его простит. — Глаза ее улыбались в паутинке морщин. Женщина накинула шаль. — Пойдем, милая. В подвале у меня живет золовка. Люди они про-

стые, примут. Обогреешься, чайку попьешь, да и обсушишься. Так и лихоманку недолго схватить!

— Марфуша, не лезьте в историю! — кричал врач, побагровев от гнева. — Эта сумасбродная девчонка доведет до виселицы!

— Так меня же, барин, повесят! — с достоинством возразила кухарка. Она достала из сундучка у вешалки чистое платье, рубаху.

Они сидели в подвале, в крохотной комнатухе с множеством водопроводных труб, вся комната увешана бельем (золотка оказалась прачкой), пили жиденский чай с вареньем (кухарка прихватила малиновое варенье), разговаривали. Девушку обласкали, накормили и уложили спать за печкой. Утром она ушла счастливая.

...И опять начался долгий путь по цветущему лугу. Цыган торопил, поглядывал на небо и почему-то страшился непогоды. Людвинская шла легко. Ноги утопали в мягкой траве. Башмаки несла на длинной палке, перекинув через плечо. Дождя она не боялась и жадно впитывала красоту цветущего луга и летнего погожего утра.

Дорога петляла среди приземистого орешника, падала и поднималась через неприметные бугорки и наконец привела к буковому лесу. Бук стоял стеной. Мрачный. Неприветливый. Пахло сыростью и прелой листвой. Верхушки деревьев переплетались вверху, закрывая солнце. Было сумрачно и темно. И этот контраст туннеля неприятно поразил девушку. Она подняла голову, прислушалась. Неторопливый говорок листвы и приглушенный пересвист невидимых птиц. Изредка попадались низкорослые ели, которым она радовалась как старым знакомым. Около елей листья отцветших ландышей. И опять опревший прошлогодний лист и голые стволы бука.

На полянке около одинокого дерева сидела белка. С пушистым хвостом и неподвижными глазами. Удивленно уставилась на непрошенных гостей и принялась теребить шишку, ловко удерживая ее лапками. Потом, передумав, смешно запрыгала, пружиня ветки.

Девушка захлопала в ладоши. Белка растворилась в листве. И опять едва приметная тропка среди букового леса. Безмолвного и угрюмого. Девушка зябко повела плечами: возможно, цыган прав, ожидая непогоды.

У обуглившегося пня Егор остановился. Свернул сигарку. Подождал отставшую спутницу. Таня прибавила шаг.

— Вот этот пенёк запоминай, красавица. Здесь свернем к родничку. — Цыган показал куда-то неопределенно рукой. — А от родничка опять по тропке. Там в ветреную погоду лай собаки можно услышать. Это лесника собака.

— Да, лес-то не из веселых: луча солнца не приметить. Тоска одна... — Девушка уныло оглядела почерневший пенёк. Видно, грозой разбило. — Как здесь человек живет? Небось бобыль?

— Человек везде может жить, — философски заметил цыган, оттоняя рукой тучи комаров. — Дьяволы проклятушие, и махры не боятся.

— А далеко здесь до границы? — неожиданно полюбопытствовала Людвинская, натягивая башмаки.

— Десять верст, поди. — Цыган стрельнул глазами и, не приметив на лице спутницы особенного интереса, миролюбиво уточнил: — А так сказать, черт их мерил. Айда, красавица. Цыган Егор — честный человек, деньги взял и работу сделал.

Сторожка лесника напоминала сказочную. Почерневшие бревна с космами пакли. Взлохмаченная соломенная шапка вместо крыши. Подгнившее крылечко. Кривые оконца.

С веселым лаем к пришедшим в ноги бросился пушистый ком. Собака. Черная. С озорными глазами. С красным высунутым языком. Куцым хвостом. Собака, не замечая цыгана, помчалась к девушке. Положила лапы на грудь, жарко подышала в ухо и, озорно прорывав, отскочила к сторожке.

Вышел лесник, смахивающий на лешего. В рваном треухе, драных валенках. С бородой лопатой. Он уныло

посмотрел на цыгана и вопросительно уставился на девушку. Собака с живостью бросилась к хозяину, принялась обнюхивать, подпрыгивать.

— Пошел, пошел. Не балуй. — Лесник ласково перебирал пушистую шерсть собаки.

— Гостям радуется! — с подобострастием заметил цыган. — Скучает, поди, по людям.

— Скучает на волюшке?! — недоуменно спросил лесник. — Чай, не один здесь, а с человеком.

Заметив, что собака не отходит от девушки, лесник подобрел:

— Собака завсегда хорошего человека чует. Ласку любит. Доброе слово. А вас, конокрадов проклятых...

— Подожди цыган-то ругать. Лучше расскажи, как к мировому ходил на братьев жалиться? — Цыган скосил глаза на девушку, как бы приглашая ее принять участие в каком-то веселом разговоре.

— Ходил! — с вызовом ответил лесник, пощипывая бороду. — Коли нужно будет, еще пойду!

— Из-за собаки! — не без ехидства произнес цыган. Уселся на пенек и, сощурившись, с явным превосходством поглядывал на чудака лесника.

— Собака тварь божья и иного подлеца умнее во сто крат. Никогда не будет тявкать на человека, который к ней с добром.

Людвинская весело рассмеялась: не рой яму другому, сам в нее попадешь. Над кем потешаться вздумал! Собака ворчливо прорычала на цыгана. Очевидно, он ей также не внушал доверия. Устав без движений, собака быстро вскарабкалась к девушке на колени и стала жарко дышать, вывалив язык. Вот она оглянулась на цыгана и, как бы жалея Татьяну, принялась быстро облизывать лицо, тыкаться носом в руки. Девушка отмахивалась, но прогнать с колен наглого пса не хватало сил. Она обхватила пса за шею и обратилась к леснику:

— А все же ходил к мировому?! — И уже строгим голосом собаке: — Я тебя! Сиди смирно!

— Ходил, девка... Нас после смерти отца осталось пять братьев. Хата махонькая — шапкой прикроешь. Братья переженились, детишек завели, и стала не хата, а муравейник. Тут и я явился со службы, без ноги... Калек... Жениться не стал: хорошая не пойдет, а плохая мне не нужна. Определился сторожем к господам. Из хаты ушел — день, ночь, все в карауле. Потом кутенка подобрал. Лихой человек выбросил его в погреб. Потопить, видать, кишка тонка, а вот так бросить — пожалуйста! Взял я кутенка. Скулил, как дитя малое. Сделал ему соску и вместо матери вскармливал. Так и жили: вместе спали, вместе на караул ходили. Кутенок махонький, под ногами путается, а мне веселее. Потом защищать меня начал. Лаает, никому к караулке подойти не давал. Смех один... Сам на ногах не стоит, а меня обороняет. Тут, на беду, я с управляющим сцепился: вдовая баба хворост из лесу тащила, да попала на управляющего. Тот на меня с кулаками: караульщик! Я плюнул и подался до хаты. А там братья набросились: сам, мол, живи, а собаку выкидывай.

— Почему? — Татьяна не отводила глаз от собеседника. — Собака-то кому мешает?

— Почему? Сами, мол, голодные как собаки сидим, а ты блажишь... Лишний рот! А как я его от сердца отниму? Я старшой среди братьев. Прикрикнул, так снохи на меня, как осы, напали. Гонят со двора кутенка, а с ним и меня. Даже злость меня забрала: скандалничал, дрался... А тут в волости объявился судья. Сказывали, справедливый и до взяток не больно охоч. Вот и пришел я к нему с Шариком. Выслушал меня барин, посмеялся, потом поглядел на культю и приказал позвать братьев. «Так, мол, и так, черти, человек геройский — это, значит, я, — лесник ударил себя в грудь, — а вы его гнать со двора! Нехристи поганые! В кутузку захотели! — Голос лесника ухал, как у лешего в дремучем лесу. — Он старшой среди вас, чертяки, и должны уважать не только его, героя, но и его собаку!»

Цыган громко смеялся, выкатив большие с синевой глаза. Смеялась и девушка. Шарик, невольный участник этих событий, высунув язык, сделал песколько победных кругов вокруг лесника.

Лесник преобразился. Помолодел, распрямился и впрямь стал геройского вида. Собака подняла правое ухо и с гордостью виляла кудым хвостом. А лесник упивался рассказом, и трудно было понять, где правда, а где столь приятная для него ложь.

— Уважай не только брата, но и собаку! Слышь! — Лесник погладил бороду и, погрузившись, добавил: — В селе меня на смех подняли. Стали мальчонки бегать, как за дурачком. В Шарика камни бросать. Тут место ослобонилось, и я подался в эти края.

— Страшновато здесь? — Таня сочувственно посмотрела на лесника и, развязав узелок, принялась отыскивать сахар.

Хитрющий Шарик сразу все понял. Смешно тыкал влажным носом в руку, мешал и нетерпеливо скреб лапами.

— Ах ты разбойник!

— Это ты правду сказала. Прохвост суций. Каждое слово понимает. Вот те крест! — Лесник размашисто перекрестился, старался скрыть улыбку, но гордость не оставляла его. — А мне табачку не сыщешь?

Девушка пожала плечами. Сахар, конечно, а уж табак! Откуда?! Выручил цыган:

— Зачем красавице табак?! — Он развязал мешок и выложил табак, соль, спички. — Держи, старик, все по уговору. А на тот товар, — цыган многозначительно кивнул на девушку, — вот тебе хозяйка. Мое дело теперь сторона.

— Бабы везде прут! — то ли с удивлением, то ли с осуждением покачал головой лесник. — В такую глушь притопала, да еще одна с бандюгой. Али жизни не жалко?! Он тебя ненароком и обидеть мог. Чай, махонькая, как кутенок! Хозяйка... Ну мешки-то как будешь перетаскивать?

— Ты прежде покажи, а потом решим, — отрезала Людвинская. — Решим, и непременно.

На избушку напоздали тучи. Рваные. Лохматые, как почерневшая солома на крыше. Крупные горошины дождя били по крыльцу и ржавой бочке, чудом оказавшейся в этой глухомани. Шарик прижал уши и, опустив хвост, улегся у ног лесника. Но вот поднял морду и тоскливо завыл.

— Гроза будет. Собака чует! — Лесник погладил собаку по голове. — То-то у меня ночью культа ныла. К непогоде.

Тучи темнели. Зашумел ветер, заговорили деревья. Посыпался дубовый лист. Плотный, литой.

— Заходите в хату, — предложил лесник, снимая с кольев выгоревшие рубахи. — Теперича дождь на всю ноченьку.

«...Русская социал-демократия не раз уже заявляла, что ближайшей политической задачей русской рабочей партии должно быть ниспровержение самодержавия, завоевание политической свободы.

...Содействовать политическому развитию и политической организации рабочего класса — наша главная и основная задача. Всякий, кто отодвигает эту задачу на второй план, кто не подчиняет ей всех частных задач и отдельных приемов борьбы, тот становится на ложный путь и наносит серьезный вред движению...»

Людвинская подняла глаза, не выпуская из рук газеты. Потерла переносицу: глаза устали. Нещадно коптила лампа. Посмотрела в темное окно и подула на обожженный палец.

Пришлось заночевать у лесника. Непогода, которой страшился цыган, разыгралась. Ветер стучался в оконце, завывал в трубе, бросал пригоршнями лист, сорванный с деревьев. По стеклу стекали потоки воды. Изредка избушка вспыхивала, словно кто-то освещал ее ярким факелом, а потом сотрясалась от могучих раскатов грома.

Лесник спал на печи, занимавшей добрую половину избушки. Стонал и бормотал, будто продолжал затянувшийся разговор с братьями. Цыган пристроился на полу. Шарик свернулся клубочком. Он и во сне повизгивал и тяжело вздыхал. Временами он открывал глаза и, отыскав лесника, успокаивался.

Людвинская спать не могла. Она подошла к окну и долго любовалась яркими всполохами молний. Потом, подкрутив фитиль, вновь углубилась в чтение «Искры». Спасибо, что цыган согласился внести в избу два тюка.

Ночь. Бушует непогода, а девушка все ниже и ниже склоняет голову над листками, перешедшими через кордон.

На печи завозился лесник. Шарик насторожил уши. Лесник зевнул, привстал. Татьяна улыбнулась, и, сделав предостерегающий жест веселому псу, вновь принялась читать. Лесник спустил ноги и, услышав отдаленные раскаты грома, перекрестился. Долго смотрел на девушку. Лет восемнадцать, не более. Худая. Черные густые волосы на прямой пробор. Длинные косы, перевязанные лентой. Красивая. Пожалуй, самым примечательным были глаза: живые, умные. И такая доброта временами светилась в них, что у этого старого и обездоленного человека дух захватывало...

ПАРИК

«Парик — головной убор из волос, сделанный в подражание природным волосам. Употребление чужих волос для прикрытия головы распространено было уже в древности: короли и воины надевали парик, чтобы внушать более уважения и страха. Мидяне, персы, лидийцы носили парик. Из Азии этот обычай перешел в Грецию и Рим, где особенно ценились белокурые волосы германцев. Во времена Римской империи ношение париков распространялось и на женщин. В середине века парик сно-

ва вошел в употребление при Людовике XI во Франции. В XVII веке парик становится все длиннее и больше, и, наконец, вошел в моду при Людовике XIV огромный парик, изобретенный парикмахером короля — Бинетом. Кроме того, были еще парики, перевязанные на затылке бантом, и парики, засунутые сзади в сетку в виде кошелька. При Людовике XV длинные парики вышли из моды и удержались лишь в судах. С начала XIX века парик утратил свое значение как парадное украшение, и его носят или из тщеславия, чтобы скрыть отсутствие натуральных волос, или для того, чтобы согреть лишенную волос голову...

Татьяна в отчаянии захлопнула книгу. Пудовая, с золотым тиснением. Поставила на полку. Да-с... Задача? Как это?! Ах да, «его носят из тщеславия... или чтобы согреть лишенную волос голову»? Прекрасно! Но лысины у нее нет, а, на беду, две громадные косы. Густые. Вьющиеся. Когда-то они были гордостью, а теперь одна заботушка. Шпики по пятам, и везде «особая примета» — эти распрекрасные длиннющие косы. Нужно что-то придумать. И тот раз в вагоне шпик стрельнул глазами по косам. «Особая примета!» Девушка попробовала сделать пучок — на голове выросло целое сооружение. Скрутила и запрятала косы под кепку — при ее худобе мужской костюм частенько выручал ее, — голова получалась непропорционально большой. В общем, выбора нет — или срезать косы, или быть готовой к новому аресту. Срезать косы она не могла: стриженую нигилистку мать не приняла бы, да и самой жалко. А новый арест?! Опять тюрьма, волчок в двери. К тому же грехи ее так велики, что каждый новый арест повернется при совокупности каковой...

Девушка сидела в скромной комнате учителя гимназии. В Умани она добралась до явки. Хозяин ушел к больной матери, а она невесело обдумывала свое положение. В зеркальце отражалось ее лицо. Худое. Озабоченное. С черными большими глазами. Блестящими волоса-

ми. Господи, так нужно купить парик! Парики в Умани продавались. На центральной улице старый парикмахер держал в окне два парика. На болванках, выкрашенных черной краской. Один парик ярко-рыжий. Интересно, кто купит такую диковину, да еще из-за «тщеславия»?!

Татьяна, смешливая от природы, развеселилась.

Другой парик — седой, в крупных локонах. Интересно, для кого? Ей седые волосы не с руки. Пока восемнадцать лет... Значит, выбора нет — тот, огненно-рыжий. Ну и вкус у распроклятого парикмахера! Может быть, перекрасить свои волосы в другой цвет? Например, в тот же рыжий — никто не поверит, что такой цвет выбрала для конспирации. Девушка быстро поднесла к глазам флакончик «Титаника», где прилизанный мужчина обещал золотистый цвет. «Титаник» был своеобразным бичом подполья. Какой бы цвет ни обещал мужчина, результат был всегда один — ядовито-зеленый, который при дожде смывался и заливал лицо грязными потеками.

Девушка с тоской потрогала свои косы и отправилась на центральную улицу, проклиная в душе и неумелого парикмахера, и его рыжий парик, годный для цирковых выступлений, и свои косы.

Парикмахер покупательнице обрадовался. Зачмокал, замотал головой от восхищения, разглядывая ее косы.

— Продайте, барышня... Большие деньги дам. — Парикмахер округлил глаза и, боясь, что ему не поверят, подтвердил: — Большущие...

Татьяна улыбнулась, недавнее раздражение пропало.

— Большущие... Вы из Одессы?

Парикмахер восторженно закрутил головой. Оживленно начал рассказывать о каких-то конкурентах, которые заставили его, парикмахера парижского толка, покинуть прекрасный город и отрыть заведение в этой дыре... На цирюльнике парижского толка брюки висели мешком. Стоптаные башмаки и засаленная рубашка. Фартук со следами ядовитого «Титаника». Желание приобрести парик ему польстило, более того, он гордился своим произведением.

— Мы работать умеем. — Парикмахер называл себя на «мы». — Образованьице получали, чай, на Старопорто-франковской. Учил нас Пупышкин — лучший парикмахер в Одессе! Прошлым летом преставился. — Парикмахер перекрестился. — Какая была у меня цирюльня в Одессе! Матросы из Марсея захаживали бриться! А прически какие!..

Татьяне не нравилось это бахвальство. К тому же грязь в цирюльне страшная: на полу стриженные волосы, вонючее полотенце, а на мраморной полочке у столика грязная вата, разбитые флаконы из-под одеколона, плешивые помазки.

Парикмахер торговался привычно и азартно. Сразу была видна одесская школа! Сердился, возмущенно отворачивался, божился и вновь кидался в торги. Цену заломил невиданную — двадцать рублей. Татьяна ужаснулась: за такое безобразие — и такие деньги!

— Покупайте, дорогая моя, в другом месте, — предлагал парикмахер. — Вот бог, вот порог...

Он шутовски присел, отбивая поклон, тут же схватил девушку за руку, когда она попыталась уйти. Глаза его приобрели разбойничий блеск. Конечно, в Умани другого парикмахера нет.

— Давайте ваше чудовище, попробую примерить. Коли сгодится, то за пятерку возьму.

Девушка сказала твердо, и парикмахер понял — заврался. Засуетился, бросился к окну и крикливо начал сгонять кошку. На окне под париком потягивалась кошка. Кошка выгнулась дугой и прыгнула к Татьяне. Девушка засмеялась. Собственно, что она хочет от парика: нужно изменить внешность, а рыжий так рыжий. К внешности своей она была равнодушна, не в пример этой красавице кошке, которая старательно вылизывала каждый волосок.

— Заприте дверь, пан парикмахер, — неожиданно предложила Татьяна, не выпуская из рук кошки. — Глазеть будут, а я не люблю.

— Невозможно! Это же реклама!

— Тогда задерните хоть окно — парик буду примерять.

Парикмахер с готовностью кинулся к окну.

Парик против ожидания оказался сносным, конечно, если не считать ядовитого цвета. Косы она уложила аккуратно, парик изменял внешность и других достоинств не имел.

Девушка сидела на стуле и внимательно рассматривала себя в зеркало. Лицо стало незнакомым. Ну и ну... Эдакий сорванец с рыжими космами. Парикмахер присвистнул: барышне парик не подходил!

Татьяна удовлетворенно продолжала разглядывать себя. Славно! Пусть попробует охранка за ней погоняться...

Она сунула деньги растерявшемуся парикмахеру и бережно запрятала драгоценную покупку.

Бой часов прервал чтение. Девушка подняла глаза. Ба, скоро три! Она сидела в здании Публичной библиотеки, куда частенько забегала, и с увлечением листала историю этого поистине прекрасного города, с которым она связала свою судьбу. Приехала наивной девушкой из Тального, местечка близ Умани, а теперь уже член Одесского комитета...

Время тревожное. Революционный шквал подобен девятому валу. Как-то ей довелось видеть штормовое море. Зачарованно смотрела она на море с Николаевской лестницы. Волны подобны грозному обвалу. Пенистыми гигантскими языками поднимались до самого неба и, круша все, падали, грозясь разрушить город. А потом злились о надолбы вдоль пристани. И опять рвались волны, опять поднимались на безумную высоту, чтобы вызвать на единоборство притихший город. Налетали миллиарды брызг. Ветер рвал крыши домов, пригибал к земле кроны деревьев, выворачивал скамьи в приморской части и отступал, пристыженный и рассерженный людским бездействием. И, словно на поле брани, набегали новые всесокрушающие волны. Девятый вал!.. Она не могла

сдержатъ своего восхищения передъ его безудержной силой и яростью.

И вот наступил девятый вал в революционном движении. Татьяна хотела с отрядом боевиков выехать на помощь рабочим в Москву. Там подняла факел восстания Пресня. Баррикады на Пресне!

Татьяна с жадностью просматривала газеты, сообщения поступали скупно, но она научилась читать между строк. Нужно добыть оружие — и с отрядом в Москву. На Пресне кровавые бои. Полковник Мин возглавил карателей, громил баррикады, ввел «чрезвычайное положение».

В комитете Татьяна получила задание: доставить оружие в Матросскую слободку. Район рабочий, и охранка побаивается там бесцеремонно хозяйничать. К тому же рабочие научились хранить оружие после «Потемкина». Привезли оружие из-за границы (товарищ был глубоко законспирирован), и выбор пал на Татьяну. Парик и мужской костюм сослужили немалую службу.

В комитете дали адрес: Полицейская. Пятое окно от угла. Дом с гербом Одессы. Гербы украшали богатые дома. Обычно она не обращала на них внимания, но номера дома в комитете не знали. Вот и забралась в Публичную библиотеку, чтобы и герб посмотреть, и время скоротать.

Она шла по Дерибасовской, параллельной Полицейской. Снег сыпал с дождем. Ноги разъезжались, и она ежеминутно страшилась упасть. Мороз обычно редкий гость в декабре, но в этом году все изменилось. Уже не впервой заковывали морозы улицы и площади Одессы, серебрили деревья и разлапистые каштаны. Заковывали, но ненадолго, начиналась оттепель, и прохожие с проклятием месили грязь. На заснеженных газонах проступала зеленая трава, а серое небо все сыпало и сыпало серый снег.

На явку идти рановато, да Татьяна и не посмела бы прямым ходом оказаться на Полицейской. Она выбралась на Старопортофранковскую, подковой охватывающую го-

род, и начала бродить. Прохожих немного, проверилась, оснований для тревоги как будто не было. И все же она волновалась: очень серьезно ее предупредили об осторожности в комитете. Девушка подняла воротник мужского пальто, пожалев, что отказалась от помощника. Обычно ее помощником был Ванюша. Широкоскулый. Усыпанный веснушками. Они вместе работали в мастерской. Сегодня она отказалась от помощи. Он будет поджидать на извозчике у проходного двора. Почему? Сама толком не могла бы ответить — скорее всего боялась впутывать парня в такое серьезное дело. Тяжелые предметы она переносила легко, да и речь-то шла об одном чемодане... Чемодан браунингов! Ванюша обиделся, хотя согласился, что в таких делах лишний человек помеха.

Татьяна поставила ногу на скамью и старательно принялась затягивать шнурок. Прием старый, если нужно провериться. Улица пустынная. Только каштаны, затканые льдом, охраняли ее.

Она шла по Пушкинской. Торопливо. Теперь она умела рассчитывать время. На явке должна быть минута в минуту. Неточности она, опытная подпольщица, не могла разрешить. Нужно пройти восемь перекрестков, а на девятом Пушкинская перекрещивается с Полицейской.

Посмотрела на витрины магазинов. Модная одежда на манекенах. Распомаженных и нагло-улыбчивых. Магазин принадлежал французу. Толстенькому. На коротеньких ножках. Вот и сейчас он стоял у витрины и натягивал мужское пальто на манекен. Витрина магазина зеркальная. Слава богу, никого.

Девушка свернула направо и пошла вдоль Полицейской улицы, цепко вглядываясь в дома с гербом города Одессы. Прошла около трехэтажного особняка и, вернувшись, уверенно толкнула калитку. Особняк длинный, с большим количеством окон, скрывался за ажурной оградой. Над входом герб. Яркий. Омытый мокрым снегом. Квартира на первом этаже. Она отсчитала пятое окно от угла. Вот красная герань. Значит, все в порядке. Стара-

тельно вытерла ноги. Дернула ручку звонка. Послышались приглушенные шаги. Дверь приоткрылась, и она быстро прошла в переднюю.

Мужчина внимательно осмотрел девушку. Барин. Холодное лицо. Усы закручены в колечко. Черный костюм. На руке перстень. Запонки золотые. Строгий галстук бабочкой и накрахмаленные манжеты. Девушка оробела. Хитрые смешинки запрыгали в глазах мужчины. Конечно, понял ее состояние.

— Могу я повидать доктора Чувилова? — простуженным голосом спросила Татьяна, боясь наследить мокрыми ногами. — Чувилова Алексея Петровича?

— Доктор Чувиллов еще не возвращался с вызова, — условленной фразой ответил мужчина. Смешинки в его глазах прыгали все озорнее и озорнее.

— Не оставил ли он для слесаря кое-какие инструменты? — закончила Людвинская, невольно улыбаясь.

— Пожалуйста, здесь сумка для вас. — Мужчина крепко пожал руку и решительно потребовал: — Скорее на кухню... Там горячее молоко. Не день, а тюрьма...

— Да-с, погодка... Семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, рвет, сверху льет, снизу метет. — Татьяна развела руками. — Так у нас говаривали дома...

— А вы откуда, товарищ?

— Из Тальпого... Такое местечко... — Девушка вытерла лицо и спросила: — А где же чемодан?

— Сразу и чемодан? — с иронией ответил мужчина. — Конспираторы! Зачем слесарю чемодан?! Ему сумка с инструментами нужна — так проще и надежнее. Да, кстати, мне сказали, чтобы я поджидал женщину. Что-нибудь случилось?

— Нет, я в мужском костюме. Так лучше. Шпики заметили из-за кос меня, вот и приходится выкручиваться. — Татьяна почувствовала, что краснеет.

— А как же косы?

— Небольшая женская хитрость...

— А...

— Где сумка?!

— Вы думали, что сумка вас при входе будет поджидать? — Мужчина улыбнулся и дружелюбно положил руку ей на плечо. — А вы молодчага. Вот уж не думал, что в такую погоду придете, да еще с такой пунктуальностью... Молодчага...

Незнакомец с явным удовольствием рассматривал девушку. Потом потащил на кухню, испугавшую девушку блестящими кастрюлями и цветными изразцами. Предложил снять пальто. Татьяна отказалась — время было рассчитано до минуты. Обжигаясь, проглотила молоко. Почувствовала, как голодна. Мужчина нарезал ломтями хлеб. Заставил выпить еще стакан. Молоко с черным хлебом показалось очень вкусным. И девушка вновь оглядела незнакомца. Барин, а молоко горячее приготовил... Человек! Ничего не скажешь...

— Как у вас дела? — Мужчина достал портсигар. — Вы не курите?! — Засмеялся, увидев испуг на ее лице, закурил.

— Дела идут, товарищ, — сказала девушка и, не скрывая нетерпения, потребовала: — Давайте сумку... По такой погодке-то проскочу...

— На море погода поднялась. Разыгралась погодка верховая, волновая! — речитативом пропел незнакомец, и в глазах грусть.

«Да, видно, немало досталось ему в жизни, — подумала Татьяна. — Песня-то каторжная... А человек он прекрасный! В такое времечко оружие доставил...»

Сумка ничем не отличалась от обычных, с которыми ходят мастеровые по Молдаванке. Потертая. С порванной ручкой, закрученной для прочности проволокой. Но тяжесть-то какая... Нести нужно легко, не показывая виду, никому и в голову не должно прийти, что, кроме инструментов да завтрака в старой газете, в сумке еще что-то есть.

Девушка петляла проходными дворами да проулочками, не зря все свободное время над картой Одессы проводила. И так сказать, зачем мастеровому человеку шагать

по барским улицам да в плохую погоду! Рука затекла. Если бы не счастливое сознание, что в сумке оружие, то вряд ли бы она сумела ее дотащить. Потом долго дивилась — через Пушкинскую пуд пронесла без малого!

На углу Преображенской и Почтовой — она возвращалась другим путем — должен поджидать Ванюша на извозчике. Оставался один проходной двор. Ворота наглухо закрыты, лишь калитка приоткрыта. «Устала, конечно, устала — вот и дворовые колодцы кажутся тюрьмой, — подумала Татьяна. — Прыгнешь в такую калиточку и останешься года на три... А были ли закрыты ворота утром? Нет, вспомнить не могла. Учили тебя, учили, — сетовала она, — а научить толком не могли. Утром и нужно было бы пройти мимо этих ворот. Глупость! Так можно научиться бояться собственной тени, да и попробуй-ка обойди все подворотни и подъезды!»

Вздохнув, девушка толкнула калитку. Прошла по длинному каменному коридору и оказалась на внутреннем дворике. Дома, как часовые, притаились... А в дворике... солдаты!.. Да, солдаты плотно набились в этом мешке. Продрогшие. Злые. У противоположных ворот, тех, которые выходили на Почтовую, для порядка парочка городских. Это, конечно, для объяснений с «чистой публикой». И действительно, толстяк городской что-то старательно объяснял дамочке с крохотной собачонкой на руках. Дамочку пропустили, городской взял под козырек.

С каждой минутой Людвинская постигала всю глубину опасности. Из мышеловки, в которую она попала, не было выхода. Западня в проходном дворе?! А у нее оружие! Браунинги! Браунинги, которые с таким трудом доставили из-за границы... Стрелять?! Пистолет у нее в боковом кармане. Так, сразу? Нет, нужно выждать. Бежать на Преображенскую улицу, дескать, ошиблась домом. Оглянулась. Ворота заняли городовые. Стоят, находились, словно снегири. Мышеловка... Нырнуть в подъезд?! Но там двери наверняка заперты, и в каждом филеры да дворники.

Она замедлила шаг, борясь с волнением. Слушала, как гулко бьется сердце. Идти стало трудно, но тяжесть сумки исчезла, вернее, она просто уже не ощущала ее. От волнения не различала лиц солдат. Серые пятна. Она остановилась, стараясь выиграть время, поставила сумку на талый снег. Вдохнула. Стрелять или нет?! Она убьет одного — вот этого надувшегося индюка городского. Но до ворот далеко. Пробежит несколько шагов, и ее схватят. Больше одного выстрела сделать не дадут... А оружие, все это богатство, окажется в полиции. В полиции, а не у рабочих. О смерти не думала. Нет, надо держаться. Она всегда надеялась до последнего. Надеялась и на этот раз, казалось, вопреки здравому смыслу.

Людвинская подняла сумку и пошла вперед. Длительная задержка казалась бы подозрительной. Теперь она отчетливо видела городского. Лицо помятое. Припухшее. С красными веками и склеротическими прожилками на носу. Она больше не замедляла шага. Расстояние между ней и солдатами, охранявшими ворота на Преображенскую, сокращалось с невообразимой быстротой. Вот и солдаты. Погоны с капельками мокрого снега. Унтер прохаживается вдоль оцепления, три шага направо и три шага налево. Равномерно, словно маятник. Служака бравый. Щеки надуты, грудь колесом. У пояса пистолет. Такой раздавит и не заметит... Сердце мучительно ноет. Еще несколько шагов, и конец. Надеяться не на что — обыскивают каждого! Вот студент, выскочивший из парадного, со злостью выворачивает карманы. Но ее, женщину, тоже будут обыскивать?! Женщину?! На беду, она в мужском платье, а так можно было бы еще повоевать. Хотелось закричать, повернуться и спрятаться в любом подъезде: бывают же в жизни чудеса! И все же она шла вперед. Внешне спокойная. Потом через годы она сама удивлялась собственной выдержке. Если есть на спасение один шанс из ста, то она обязана им воспользоваться. Оружие — главное. Все остальное казалось неважным, все отступило на второй план.

Дальше идти пекуда. Девушка остановилась. Городовой зло выговаривал студенту, не желавшему отвечать на вопросы. Студент язвил, хохотал, как при щекотке, и чем-то умудрялся дразнить городского. Потом сел на снег и принялся расшнуровывать ботинки:

— Господин городской, вот сниму ботинки, и увидите, что и там нет оружия... — Студент шутовски бил себя в грудь и, закатив глаза, крестился: — Господи, преврати меня в соляной столб, коли совру...

Унтер, подкрутив ус, подозвал солдата.

— Обыскать! — бросил зло. Он равно не одобрял поведения студента, как и медлительности городского. — Да, да, обыскать...

Людвинская опустила сумку на землю. Поставила на сухое местечко и приготовилась ждать развязки.

Солдат козырнул и сделал шаг вперед. Говорил деревянным голосом, подражая унтеру:

— Оружие есть? Литература?

— Мы мастеровые с Молдаванки... Зачем нам оружие?! Здесь у господ водопровод чинили, потолок протек. — Людвинская отвечала не спеша.

— Подними руки! — приказал солдат, не выпуская из поля зрения рассерженного унтера.

Студент сбросил шинель на мокрый снег и грозился снять не только мундирчик, но и рубаху. Злонамеренность была явная, хотя студент выказывал великое старание.

— Подними руки! — повторил солдат, невольно прислушиваясь к крикам студента.

— Смотри, ваше благородие! — с вызовом бросила Людвинская, устав от долгого ожидания несчастья. — Смотри... Один черт...

Она подняла руки. Вот и все. Как это быстро и просто! Сейчас солдат обнаружит пистолет и в сумку заглянет. Конец! Сердце билось яростно. По чрезвычайным законам, введенным в декабрьские дни, «при обнаружении оружия — расстрел на месте без суда и следствия». Рас-

стрел... Почему бы для нее не сделать исключения?! Лицо исказила болезненная гримаса. Да, действительно, почему?! Оружие есть и в кармане, и в сумке. Впрочем, она пощады и не думает просить: как все, так и она.

Солдат невысокого роста. С чернявым лицом. Быстрыми глазами в густых ресницах. Рот крупный. В уголках губ сердитые складки. «Небось ему и расстрелять поручат, — промелькнуло у девушки. — Что ж? Такой расстреляет. Вот и винтовку перекинул через плечо. На шинели осталась полоса от ремня. Неужто такой снег? Солдат-то, как дед-мороз в пушистой вате».

Татьяна с какой-то болезненностью всматривалась в солдата...

— Р-ррас-стег-ни пальтишко, парень! — Очевидно, солдат повторил несколько раз. Шея покраснела, и голос звенел: — Ррас-стегни... Одурел от страха, вишь, ничего не слышит...

Татьяна с безразличием расстегнула пальто. Очевидно, от волнения она плохо понимала, чего требовал солдат. Унтер довольно кивнул солдату и направился к неутомонному студенту, который, словно на торгах, в расстегнутой рубашке бросал о сырую землю скомканную шапку.

Руки солдата начали прощупывать карманы пальто. Пистолет лежал в правом кармане. Под тяжестью его карман провисал. И сразу же рука солдата наткнулась на пистолет. Глаза его расширились, испуганно забегали зрачки. Для верности или от неожиданности он заглянул в карман. Да, заглянул — в этом она была свято уверена. И отпрянул. Рука, вздрогнув, отлетела. Глаза их встретились. Ее — усталые и спокойные, и его — встревоженные и безумные. Она не могла больше страдать. Казалось, он кричал: «Нет... Нет... Нет!..» А она, посмеиваясь, твердила: «Да... Да... Да...» Вот глаза солдата сузились, беспокойно метнулись и оцепенели.

— Ты что, словно бабу щупаешь?! — загоготал унтер, покончив свои дела со студентом.

Солдат опустил руки. Кругом захохотали. Конечно, чему не засмеешься, проторчав день-деньской под мокрым снегом да вылавливая смутьянов по приказу начальства.

Солдат подобрался.

— Про-ходи, бро-дяга! — Грубо выругался. — Кому говорю... Шляются тут всякие...

Татьяна боялась ослышаться... Вытерла ладонью пот со лба. Она с трудом воспринимала происходящее. Солдат... Оружие... Студент... Унтер... Но сумку подхватила, как перышко, не давая возможности заглянуть в нее солдату. В глазах улыбка. Женская. Беспомощная.

— То-пай... То-пай, браток! — торопил ее солдат, опасаясь приближающегося унтера. — Какого черта мешкаешь...

Солдаты, занявшие проход, расступились. Людвинская еще раз оглянулась на своего спасителя и оказалась на Почтовой. Шла торопливо, ожидая погони. Шла, боясь поверить в удачу, поверить в жизнь.

Солнце выкатилось из толщи облаков и, раскидывая широкие лучи, заливало город. И новое, неизведанное чувство радости бытия охватило девушку.

На перекрестке у мясного магазина извозчик. Верх пролетки раскрыт, как гармошка, и залеплен мокрым снегом. В глубине знакомое лицо Ванюши. С крупными рыжими веснушками. Он с тревогой посматривал на приближавшуюся девушку. Вот соскочил и, нарушая конспирацию, кинулся навстречу. Выхватил сумку и что-то невнятное пробормотал.

Людвинская не сделала ему замечания. Безвольно передала сумку, за которую едва не заплатила жизнью, и свалилась на сиденье. Извозчик хлестнул лошадь. Девушка не удержалась и ударилась головой, провела рукой по лицу — слезы... Значит, она плакала?! Но когда?!

Она закрыла глаза и старалась забыть, как после кошмарного сна. А город бежал знакомыми улицами и домами, площадями и фонтанами.

Петербургскую партийную конференцию было решено провести в Териоках. Стоял ноябрь 1907 года. Холодный. Дождливый. С мокрым снегом и пронизывающим ветром.

— В Териоках на станции тебя встретят. Вот держи салфетку. — Попов, известный в подполье под кличкой Пека, протянул свернутый пакетик.

— Салфетка... Бумажная. С голубым ободком. — Людвинская, не сдержав любопытства, развернула подарок Попова. — Зачем?! А... Значит, опять к больному зубу буду прикладывать.

— Слава богу, уразумела. — На лице Попова веселое изумление. — Только смотри в поезде смирно сиди.

Татьяна удивленно подняла глаза. Большие. Черные. Попов, секретарь Петербургского комитета партии, зря слов на ветер не бросал. Следовательно... Но от одной мысли у нее перехватило дыхание. Спросить не посмела и поспешила перевести разговор.

— Значит, решено провести конференцию в Финляндии?!

— Да, в Петербурге опасно. Охранка совсем озверела, хватает правого и виноватого. — Попов с необыкновенной серьезностью закончил: — К тому же есть основания быть весьма осторожными и обеспокоенными...

И вновь Попов не договорил самое главное. Татьяна это хорошо понимала. Она читала озабоченность и в его голубых глазах, и в складках у губ, и в некоторой медлительности разговора, словно разговор имел еще иной, тайный смысл. Будто айсберг плывет по морю — меньшая часть его всем видна, а главная глубоко скрыта водой.

— Значит, помни об осторожности и проверяйся хорошенько, — вновь усилил ее тревогу Попов.

Татьяна вопросов не задавала. Понимала их бесполезность, но внутренне сжалась: «Неужели?!» Нет, в усло-

виях такой слежки, а точнее, террора это было бы безумием. Впрочем, момент в рабочем движении тяжелейший, и слово его очень важно. Кто знает? И вопрос на конференции большой: об отношении политических партий к предстоящим выборам в Государственную думу. Будут ли большевики участвовать в выборах?! Сумеют ли провести своего депутата?! Или новый бойкот?! Да разве мало споров в таком труднейшем подполье?!

На вокзале делегаты садились в разные вагоны. Большинство знали друг друга, но никто и бровью не повел. Конспирация! Мужчины с сумками, с которыми обычно железнодорожники отправляются в рейс. Женщины с бидонами, чтобы быть похожими на финских молочниц. Неподалеку сидела Розалия Землячка. В модной шляпке. Под модной вуалью. В руках французская книга. Рядом, бесспорно, шпик. Да, Землячке придется поводить его за нос. Что ж! Не впервой!

Землячка вызывала у Людвинской восхищение. Они познакомились в Одессе, куда частенько приезжала Землячка. Споры вела с меньшевиками жаркие и с блеском! Вот кто по-настоящему образован! В Одессу явилась светской дамой. В огромной шляпе «птичье гнездо» — изделие французских модисток. В высокой прическе привезла клише запретного издания. Они потом размножили его в типографии. Но вот Землячка заговорила со шпиком. Нараспев. Полупрезрительно, как и положено светской даме. Что-то спросила по-французски и повела плечами. Шпик не понял ее. «Так-то, голубчик», — радовалась Людвинская, поглядывая на смущенного шпика.

Это вынужденное бездействие, тихий перестук колес, плавное покачивание всегда располагали к раздумью.

Она припомнила разговор с Поповым, его манеру держаться, мягкий юмор, а главное — озабоченность, которую ранее она не замечала. Загадка, разгадка да семь верст правды... Попов выглядел плохо: туберкулез, нажитый в тюрьмах, давал о себе знать. Кашлял отчаянно,

и платок в крови. Он пытался его скомкать, но она-то видела кровь, яркую, алую. В условиях петербургской сырости, конечно, кровохарканье к добру не приведет. Говорят, у него есть жена и дети. Есть, но видит он их от случая до случая...

Поезд замедлил ход. Клубы черного дыма окутывали окна. Слышался далекий гудок паровоза. Мимо прогрозотал состав. И опять за окном проносились леса. Вековые дубы и низкорослые сосны, забитые северными ветрами. Валуны, едва прикрытые мхом и редким цепким кустарником. Пожухлые болота с островками яркой зелени. Скалы с одинокими соснами, зачумленными непогодами. Мшистые травы с краснеющей брусникой. И над всем этим покоем унылое, непроглядное небо.

Вот и граница. Неприветливое здание станции. В вагон зашли чиновники. Впереди грузный мужичица с опухшим лицом. В глазах веселое недоумение, словно он и сам не понимал, зачем ему, немолодому человеку, с важным и неприступным видом расхаживать по вагонам, да еще в сопровождении солдат с тупыми и равнодушными физиономиями?! Солдаты высоченного роста.

— Контрабанды нет?! Водку не везете?!

Людвинская улыбунулась, виновато развела руками: нет, мол.

Финн шумно вздохнул. Прошел по вагону. Но вот вернулся и ткнул пальцем в короб соседки по купе. Соседкой оказалась финка. Она громко смеялась, напевно тараторила, поправляя льняные волосы.

Все быстрее стучат колеса, ведут торопливый разговор, бескопечный, как дорога.

За окном скалистые горы. Плешинки, затканые бурым мхом. Красные островки клюквы.

Скалистые места сменились лесистыми. Людвинскую всегда восхищали северные леса. С яркими красками, шумными дубравами, тронутыми первыми морозцами. Темные стволы рассекают небо. Серое, бесцветное. Редкие деревья на вершинах удерживают красно-оранжевые

листья. Издалека они кажутся тяжелыми, литыми, не в пример тем летящим при каждом порыве ветра, что покрывают цветным ковром землю.

Людвинская прислоняется к вагонному стеклу и тихо шепчет:

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей.

Вагон трянуло. Пронзительно заскрипели тормоза, и поезд остановился.

Териоки. Небольшая станция. С медным колоколом. Невысокой водокачкой. Крохотным палисадником. Дежурный по станции в фуражке с красным верхом. Важный и медлительный, будто журавль. На платформе царило оживление, которое наступало всякий раз по прибытии петербургского поезда. Делегаты приезжали разными поездами, чтобы не привлекать внимания охраны. Но в основном этим, утренним.

Людвинская переложила салфетку, ту, заветную, в карман пальто, чтобы край ее был виден, и вышла из вагона.

Накрапывал мелкий дождь. На сером небе заголубели разводы, за которыми угадывалось солнце. Ветерок перебрасывал опавшие листья. Пожухлые. С черными пятнами.

Людвинская оглядывала толпу. Конечно, ее должны встретить добрые знакомые. В толпе прошла на другой конец платформы. Салфетку держала в руке. Неприметно, но для посвященного человека достаточно.

У скамьи стоял мужчина. Закуривал. Спичка не зажигалась, но с лица незнакомца не сходила добродушная ухмылка. Пальто его распахнуто, и зоркие глаза Людвинской заметили такую же салфетку в кармашке пиджака.

Девушка замедлила шаг. Незнакомец бросил спичку и, не допуская вопроса Людвинской, проговорил:

— Держитесь мужчины в кепи... Да, да... Расстояние не менее двадцати шагов...

Людвинская и бровью не повела. Разговор стремительный, чтобы неискушенный человек ничего не смог разоб-
раться.

Накануне в Териоках прошел сильный дождь. Улицы, не вымощенные булыжником, были размыты. Ноги скользили, разъезжались по грязи. Синие плешины на небе заволокло дымными тучами, солнце скрылось, и только ветер бил косым дождем.

Людвинская чувствовала себя напряженно. Мысль о том, что она может потерять из виду мужчину в кепи, пугала. Но что это? Мужчина скрылся в парадном. Странно, так быстро добралась до места! Она смахнула с лица капли дождя и устремила к парадному. От дома отделилась женщина и, комкая в руке салфетку, проронила:

— По улице до конца. — Женщина пытливо всматривалась в лицо Людвинской. — Там встретят...

В конце улицы человек с салфеткой направил ее в проулок, едва приметный и грязный. Дальше она шла полем, с трудом вытаскивая из глины ноги. Добралась до мрачного здания, напоминавшего сарай. Этот сарай отвечал всем требованиям конспирации: два входа и два выхода. Людвинская с благодарностью посмотрела на связного, пропустившего ее в помещение. Ярко горела керосиновая лампа, подвешенная под самым потолком. К удивлению, делегаты почти все собрались. Значит, она приехала с последним поездом. Вот и Землячка, опередившая ее. Она приветливо помахала рукой и продолжала спор с немолодым уже человеком.

Людвинская оглядела помещение. Накануне финские товарищи привели сарай в божеский вид: помыли, почистили, поставили скамьи. И все же пахло сыростью, по стенам проступали грязные разводы.

Внимание ее привлек человек, которого она раньше не встречала в подполье. С открытым лицом. Крутым большим лбом. И удивительными глазами. Зоркими и умны-

ми. Одет он в поношенное пальто. Кепка засунута в карман. Незнакомец беседовал с товарищем Пека (он же Попов, секретарь городского комитета). Попов недоуменно приподнимал плечи, оправдывался. Незнакомец держал его за пуговицу пальто и чего-то настоятельно требовал.

Увидев Людвинскую, Попов поднял руку, приглашая подойти.

— Товарищ Таня, — представил он ее незнакомцу. — Недавно прибыла из Одессы на подкрепление.

— Мы еще потолкуем, и общими словами вам не отделаться, — сказал незнакомец Попову и повернулся к Людвинской: — Из Одессы? Это хорошо. Выкладывайте, что там у вас творят меньшевики?

Обаяние незнакомца было бесспорным. Карие глаза требовательно и внимательно ждали: «Кто-то из районщиков», — решила Людвинская и, забыв об осторожности, начала:

— Как всегда, демагогией занимаются. Нам работать мешают. Ну а мы меньшевиков из рабочих организаций вышибаем... — Людвинская увидела, как сузились глаза незнакомца.

— Это вы правильно делаете, — с легкой картавостью подтвердил незнакомец и повторил: — Очень правильно!

— В Петербург мне ехать не хотелось. К Одессе приехала. Я там знала многие фабрики, да и с рабочими порта сдружилась. — Людвинская помолчала и, поняв, что незнакомец ее слушает с вниманием, продолжала: — А сейчас рада, что в Питере обосновалась.

— В Питере работать проще? — поинтересовался мужчина, поглаживая лысеющую голову.

— Силы не приходится тратить на разговоры с болтунами да демагогами. Я на Путиловском. И наш кандидат в думу тоже с Путиловского.

— С Путиловского? — переспросил мужчина. Правый глаз его прищурился, и на лице появилось испытующее выражение.

— Живет в Московском районе, а работает на Путиловском. Полетаев... Тот самый, кого в думу от большевиков прочат. — Она понизила голос и заговорила возбужденно: — Владимир Ильич одобрил его кандидатуру. Полетаев — честный человек, народ его уважает. Я на заводе голос сорвала.

— Это почему?!

— Все доказывала, что нужно голосовать за Полетаева, а не за Глебова, которого меньшевики прочат.

— А рабочие разве хотят голосовать за Глебова?! — поинтересовался мужчина.

— Глебов — меньшевик... Заядлый... Его в Государственную думу от рабочих? Да Ленин нам голову оторвет, — убежденно закончила Людвинская. — Оторвет и будет прав!

— Пожалуй, и правда оторвет, — быстро ответил мужчина, и в глазах его вспыхнул веселый огонек. — А какие шансы у Полетаева?!

— Шансы! Фигура из трех пальцев. — Людвинская, заметив недоумение на лице мужчины, мрачно подтвердила: — Шиш!

— Это в том случае, если большевики завалят агитацию. Нужно объяснить рабочим, почему важен свой депутат в Государственной думе.

— Конечно, пора начать агитацию не только на словах, но и на деле. — Людвинская подобрала прядку волос, упавшую на лоб, и, радуясь, что ее мнение совпадает с мнением такого располагающего человека, решила расспросить и его: — Вы из какого района? Ни в Московском, ни в Путиловском я вас не встречала. Память на лица у меня отличная, а вот вас не помню... Так откуда вы, товарищ?

— Да я там же работаю. — Мужчина старался уйти от прямого ответа. — В Петербурге и виделись...

— Конечно, в Петербурге... Это ясно. Дела-то все питевские. Нехорошо, товарищ, получается... Некрасиво...

Я все откровенно выложила, а вы ничего не хотите рассказать, даже назвать себя не желаете.

Мужчина смягчился. В карих глазах полыхнули лукавые смешинки. Сказал примирительно и пожал руку: — Еще поговорим... Конференция-то не закончилась.

Хлопнула дверь. Потянул сквознячок. В сарай вошел новый делегат. Незнакомец быстро взглянул на вошедшего и, чуть картавя, остановил его:

— Одну минуточку, товарищ! — И прежде чем отойти, вновь обратился к Людвинской: — Спасибо... Встретимся, и непременно, а пока будем драться за Полетаева. Да, именно драться!

Незнакомец хотел уйти, но Людвинская придержала его за рукав.

— Обождите, товарищ, — Людвинская оглянулась по сторонам и, боясь, что их могут услышать, сказала: — Ленин будет?! Не знаете?! — Вдохнула и закончила мягко: — Очень бы хотелось его послушать. Еще в Одессе мечтала.

Мужчина развел руками.

Людвинская села в угол, стараясь не выпускать из поля зрения своего недавнего собеседника. Кто он? Поговору свой. Простой и приветливый. Дела знает хорошо. Сосед прервал ее раздумья:

— Уходим... уходим... Передали распоряжение... Полиция может пожаловать...

В сарае началось тихое волнение. «Уходить... Уходить... Уходить...»

По небу проносились тучи, спасались от преследования неведомых и грозных сил. Дождь с остервенением лил.

Людвинская подняла воротник пальто и втянула голову. Глаза ее следили за хрупкой цепочкой, которая вот-вот грозила распасться. Каждый шел на расстоянии двадцати шагов. Она держалась своего соседа. Тот шел, тяжело припадая на правую ногу.

Впереди показался недостроенный дом.

В доме большие комнаты. В одной оказались скамьи, в другой — круглый стол. Значит, финские товарищи

приготовили и запасной вариант. Людвинская в изнеможении присела в последнем ряду. Ситцевым платком оберла лицо. Платок стал мокрым, пустила в ход и салфетку с заветной каймой.

— Слово для доклада предоставляется товарищу Ленину...

Слова донеслись издалека. Девушка подалась вперед. Наконец-то Ленин! Забылся и долгий путь, и блуждания по городку.

— ...Для чего большевики идут в думу?! — Ленин говорил тихо, резко подчеркивая слова жестами. — Только для того, чтобы высоко держать знамя социал-демократии, чтобы вести непримиримую борьбу против контрреволюционеров всех видов и оттенков, начиная с союзников и кончая кадетами. И конечно, идут не для того, чтобы поддерживать октябристов и кадетов...

Людвинская с трудом приходила в себя. В выступавшем она узнала того незнакомца, с которым она только что откровенничала в сарае. Это был Ленин. Собранный. С волевым лицом. Ленин! А она-то обижалась да любопытством его донимала...

На мгновение ей показалось, что она поймала его взгляд, и вновь глаза полыхнули знакомой хитринкой. Лицо его побледнело, стали заметнее широкие скулы, а голос становился все тверже:

— Будучи представительницей наиболее передового, наиболее революционного класса современного общества — пролетариата, на деле доказавшего в русской революции свою способность к роли вождя в массовой борьбе, социал-демократия обязана всеми мерами содействовать тому, чтобы эта роль осталась за пролетариатом и в той новой стадии революционной борьбы, которая наступает, — в стадии, характеризующейся гораздо большим, чем прежде, перевесом сознательности над стихийностью. С этой целью социал-демократия обязана всеми силами стремиться к гегемонии над демократической массой и к развитию в этой массе революционной энергии...

В перерыве Людвинская подошла к Владимиру Ильичу Ленину.

— А, конспиратор! — шутливо приветствовал ее Владимир Ильич, разгоряченный и состоявшимся выступлением, и встречей с товарищами, и тяжкими спорами. — Как же все выложили незнакомому человеку! Мучаетесь! Ну и поделом!

— Я вам поверила! — не отрывая сияющих глаз от Владимира Ильича, ответила Людвинская.

— Поверила? Нехорошо поддаваться первому чувству, — не то шутливо, не то с укором проговорил Ленин. — Заезжайте в Куоккалу... Там продолжим разговор... Хорошо? — Ленин улыбнулся и что-то горячо начал доказывать Попову.

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

1909 год. На этот раз ее арестовали на улице. Она еще не оправилась от пребывания в Литовском замке. Худая, с посеревшим лицом, а тут новый арест.

Солнце слепило глаза. Под усиленным конвоем Людвинская препровождалась в Дом предварительного заключения. Тюрьму строили как показательную: на Западе все чаще раздавались голоса об ужасающих условиях тюремного заключения в России — высокая смертность, отсутствие элементарных удобств, скученность.

Татьяна Федоровна уже и счет потеряла арестам. В одном Петербурге за два года третий арест. Первый раз арестовали на профсоюзном собрании. Она рассказывала рабочим о социализме. Полиция появилась неожиданно. Она и опомниться не успела, как пристав любезно предложил следовать за ним. Пристав был весельчак. Улыбался и советовал в камере продолжить блистательное выступление о будущем, которое он и сам не прочь бы послушать... В следующий раз ее арестовали на чайной фабрике, куда устроилась работницей. Арестовали в обе-

денный перерыв — она читала листовку о забастовке на Путиловском заводе. Пристав грубо толкнул в плечо и приказал пройти «для установления личности». Работницы так тогда поносили этого пристава. И вот третий арест. Взяли прямо на улице. Здесь же рядышком и карета была. И шпик, чтобы не обознались ненароком. Приятный господин в золотом пенсне. В белом воротничке, такой аккуратист, а на носу большущая бородавка. Она попыталась нырнуть в ворота, но не тут-то было. У ворот стоял дворник. И все же она рванулась — побежденной себя никогда не чувствовала, — рванулась... Шпики ослабились: мол, знакомые штучки. Презрительно окинула взглядом господина в золотом пенсне, но тот, притворно зевнув, отвернулся. Проследил, негодяй! Она жила в приличной квартире на Второй линии Васильевского острова и, казалось, была хорошо законспирирована. Правда, студент, сосед, вызвал подозрение: часто встречался на лестнице, пытался заговорить, а однажды от него вышел околоточный! Вот те на... В те дни у нее жил товарищ из Николаева под видом родственника. Жил без паспорта, после побега из тюрьмы. Товарища нужно было отправить за границу, но дело не клеилось. Она волновалась, а тут студент с разговором.

— Не могу понять, чем вы, мадам, вызвали интерес полиции, — пустился он в разговор, подкараулив ее в прихожей. — Впрочем, этот интерес вполне законный: ко мне приходят справиться о вашей благонадежности, к вам — о моей. Таков милый порядочек в стране! Да-с, в полиции интересуются вами...

— Интересуются моей особой?

— Знакомствами... Образом жизни... Духовным миром... Полиция — и духовный мир?! Чудеса в решете! Интеллектуалы из охраны...

— Очень даже любопытно, — нарочито громко ответила Людвинская и побледнела.

Побледнела Татьяна Федоровна неспроста: в комнате слышался грохот разбитой посуды. Ох уж этот морячок,

которого она прятала от полиции, словно медведь на цепи! Огромный, неповоротливый и отчаянный враг вещей: крушит все, что попадается ему на пути. Наверняка разбил тарелку, и каша оказалась на полу.

— Да, действительно, — ответил студент, стараясь показать, что он не слышит шума в комнате. — Я считаю долгом порядочного человека передать вам этот разговор. — Студент выкатил глаза и, придав лицу дурашливое выражение, забубнил: — Барышня ничего не читает, кроме модных журналов. Адресов никаких не имеет, кроме модных портных. Пустая как пробка. Болтлива как сорока и секретов не держит...

— Какого хорошего вы обо мне мнения, — Людвинская улыбалась.

Она хитрила: показать, что взволнована, невозможно. Кто этот студент? Скорее всего честный человек, а если осведомитель?!

А студент продолжал:

— Очень прошу о милости: подтвердите мою добропорядочность, коли сей муж ввалится к вам. Так, по соседски. Пьет, мол, горькую да хороводится с девицами. Впрочем, это может показаться подозрительным: девицы, упаси господи, могут быть и курсистки... Идеи эмансипации... Есть и другой вариант: корпит над книгами... Что я болтаю, безумец?! Каждый, кто имеет дело с книгами, — враг Российской империи! Только пьющий да гуляющий и есть добропорядочный в наш век.

— Обязательно так и поступлю, — пообещала Людвинская, решив при возможности навести о студенте справки.

— Советую вам дать дворнику на водку, — присовокупил студент. — Поверьте мне: я в Петербурге пять лет и пришел к выводу, что самый страшный народ здесь дворники! Понимаете, их разлагает полиция: охранка приплачивает за осведомительство... Да, да, дадите на водку, а пользы с три короба: и парадное с любезностью откроет после двенадцати, и дрова зимой принесет, и око-

лоточному одни прекрасные вещи о вас будет сказывать...

— Пожалуй, вы правы, — проговорила Людвинская, показав всем видом, что ее уговорил студент. — И знаете, не потому, что не желаю сталкиваться с полицией, просто не хочу нарушать традиции.

И действительно, в комитете посчитали, что студент прав, да еще и отругали. Она возмущалась: красномордому верзиле пятерку на водку просто так, ни с того ни с сего. Да она хлеб покупает на пятак, тот, что зовется солдатским. Клейкий, как замазка, год на окне пролежит и не зачерствеет. А здесь партийные деньги, и кому...

Студент оказался хорошим парнем. Приносил ей газеты, временами перехватывал деньжат по мелочи. Кажется, все устроилось... И, пожалуйста, арест!

Тюремная карета покачивалась. Есть время подумать. Жандарм, распустив пояс, подремывал. Шторки плотно закрыты. Дорога длинная, жандарму служба идет.

И все же почему провал? Почему? Более всего ее раздражал шпик. Эдакий благовоспитанный господин в пенсне. Но она же его знает. Встречалась, и не однажды. Первый раз в конке на Пантелеймоновской она перехватила тогда липучий взгляд. Потом в Гостином дворе — она поджидала товарища с Путиловского. В Гостином толкались покупатели. Она затесалась в толпу и согласно договоренности задержалась у прилавка. Взяла красный кошелек и придирчиво рассматривала его. Тут подошел товарищ. Взял кошелек и также начал его вертеть. Они обменялись несколькими словами и разошлись. У выхода она остановилась, выпила стакан сельтерской воды. И опять поймала этот липучий взгляд. Господин прицеливался к зонту. Какое-то безошибочное чутье предостерегало ее об опасности. Но что было делать? Работа в разгаре, а людей так мало. Она зашла в Летний сад и долго сидела в тенистом уголке под защитой Меркурия, немого свидетеля ее терзаний. Волнение улеглось, и она трезво взвесила обстановку: шпики кружат, как вороны, и все

же выхода нет — нужно работать! На ее плечах конспиративная квартира, кружки, литература... В комитете ей приказали переждать. Наступили дни вынужденного бездействия: сидела в скверах, бесцельно бродила по городу. Шпик и вправду исчез: ни в столовой, ни на конках, ни на улицах. Она решила, что опасность пронеслась...

И вот она в тюремной карете. Уныло тащится эта карета, словно катафалк. Напротив жандарм. Прикрыл глаза, похрапывает. Слава богу, навидался всякого на своем веку! Рядом на сиденьице — другой. Молодой. Положил руки на шашку и выпрямился — гордость распирает. Эдакий подвиг совершил, негодяй! Набросились на больную женщину и схватили. А шпик и дворник — в запасе. Храбрецы!

Людвинская задохнулась от гнева:

— Почему меня схватили на улице?! Если арест, то предъявите ордер! Порядочки...

Сонный жандарм встрепнулся. Тряхнул головой и, скрывая зевоту, съязвил:

— Вот и доказали, сударыня, что порядочки-то знаете. — Жандарм ухмыльнулся и, поглядывая на своего напарника, заметил: — Взяли толком...

Напарник, угреватый, угодливо хохотнул, очевидно плохо понимая и гнев этой женщины, и слова старшего. Вся его щупленькая фигурка выражала испуг: арестованная обязательно сделает что-то немыслимое, за что ему будут большущие неприятности. И он ел глазами эту женщину, опасаясь и револьвера, который наверняка, как говорили в охранном отделении, припрятала в сумочке, и бомбы — о ней немало судачили во время дежурств, и яда — его каждая политическая носила на груди.

Людвинская презрительно щурила глаза, кляла себя за неожиданное вступление в разговор. Ненужный и бессмысленный, не могла сдержаться.

Колыхнулась зеленая шторка, и Татьяна Федоровна в последний раз увидела и ослепительное небо в голубых разводах, и воркующих голубей, и мальчика с ран-

цем за спиной. Он боязливо уставился на тяжелую карету и жалко улыбнулся, заметив женщину с неподвижным лицом.

У железных ворот забежали жандармы. Появился ротмистр. Он что-то кричал дежурному. Старый служака не торопился открывать ворота. Доносились перебранка и ржавый скрип отодвигаемого засова.

Людвинскую провели в канцелярию. Дежурный офицер показал на стул и с треском взломал сургучную печать на пакете, который ему доставили.

«Странно, — удивилась многоопытная Татьяна Федоровна, — обычно после ареста доставляли в участок, а потом, установив личность и проведя первые допросы, — в тюрьму. А здесь разом в «Кресты». И даже соорудили пакет с печатью. Наверняка надолго».

Людвинская сидела спокойно, наблюдала за офицером. Правый ус опущен, да и правый глаз прищурен, как у кота при игре с мышью. Офицер раскрыл прошнурованную книгу с болтавшейся печатью.

Она рассматривала окружавшие предметы, зная, как помогают они удерживать ровное и спокойное состояние. Она овладела собой и на происходящее смотрела словно со стороны.

— Фамилия? Имя? Отчество? — привычной скороговоркой начал дежурный офицер, не поднимая глаз.

— Очевидно, вы должны знать, кого арестовали.

Она ненавидела процедуру приема арестованных, ложную и глупую, когда тебя пытаются уличить и унижить, а ты, оглушенная и затравленная, не зная, чем располагает следствие, стараешься найти какую-то позицию. Но найти эту позицию не так-то просто, вот и возникает отвратительное состояние игры в «кошки-мышки». Конечно, им известны и фамилия, и имя, и отчество, известен род занятий, иначе не привезли бы ее сразу в Дом предварительного заключения. Неясно только: взяли ли ее как районщика, в одиночку, или произошел очередной провал Петербургского комитета?! Если одну, то нужно

все отрицать и вступать в сложную игру. Если произошел провал комитета, то нужно молчать. Потом в камере найдутся друзья, которые и помогут сориентироваться. Пожалуй, лучше молчать.

— Итак, на вопросы отвечать отказываетесь, — подытожил офицер, щелкнув крышкой портсигара.

— Я хочу знать причину, которая позволила вам схватить меня на улице и доставить в «Кресты». — Людвинская в упор смотрела на офицера, пытаясь разобраться в ситуации. — Кстати, паспорт при мне.

Она порылась в сумочке и протянула вид на жительство. В глубине души теплилась надежда на благополучный исход. Чудеса?! Но кто отказывается в них верить!

— «Гейна Гейновна Генрих!» — громко прочитал офицер, и правый ус его дернулся. На лице сонное выражение. В глазах бесстрастность. — Прописка в порядке...

Офицер зевнул, почесал переносицу и лениво спросил: — Чистая работа... Где доставали паспорт?

— В полиции, — невозмутимо ответила Людвинская. — Точнее, в участке...

— Так-с, сударыня. — Губы офицера сложились в злую усмешку. — Скорее всего паспорт настоящий, но к вам он не имеет ни малейшего отношения. К тому же вас стала подводить память...

— Меня? Не замечала.

— Напрасно. Мне посчастливилось уже встречать вас. Только тогда вы имели документ на имя мещанки Волгиной. — Офицер не без гордости пояснил: — Я в некотором роде феномен. Меня частенько приглашают для опознания. Вот и вас я уже арестовывал на собрании кожевников.

Действительно феномен. Не повезло чертовски. Теперь и она узнала эти равнодушные глаза, чуть обрюзгшее лицо. А усы?! Усов тогда не было, как и этой неестественной худобы. Офицер позвонил и приказал кому-то за перегородкой:

— Строжайший личный обыск! Волосы не забудьте.

Косу-то придется расплести. — Эти слова уже к арестованной. — Хорошие у вас косы. Сразу запоминаются. Накладочка для конспиратора. Да-с, накладочка!

Людвинская прошла за перегородку. Там ее поджидала женщина.

Обыск Татьяна Федоровна выдержала стойко: все внимание было сосредоточено на быстрых, нервных пальцах. Вот они, вздрагивая, прощупывают платье, кофту, встряхивают платок, вывертывают кошелек и нехитрое содержимое сумочки. Голос скрипучий:

— Одна юбка. Черная. Вельветовая. — На мгновение голос замолк, и пальцы стали прощупывать рубаху, задерживаясь на швах, и, не обнаружив ничего предосудительного, побежали дальше. — Чулки... Одни ботинки.

«Одна юбка... Одни ботинки... Одно пальто... — Людвинская дивилась идиотизму личного обыска. Конечно, она могла прийти в двух парах ботинок или двух юбках, а то и в нескольких пальто. — Откуда такие зверюги берутся?! Да и работает не по принуждению, а с видимым удовольствием. Копаются в исподнем и счастлива».

На ширме, за которой стояла Людвинская, вырастала горка вещей. К упизительной процедуре личного обыска привыкнуть невозможно. Людвинская едва сдерживалась. Стояла опустошенная и поникшая. И все же какая это дрянная баба! Скоро и в волосы полезет, и рот заставит открыть.

Наконец Людвинская вышла из-за ширмы. Волосы едва заплела, руки дрожали от унижения.

— Красиво, господин офицер. Ничего не скажешь. Схватили на улице, заломили руки, запихнули в карету... А теперь живого места не оставили: исщипали, издергали, словно уголовную. В волосах разыскиваете секретнейшие бумаги...

— Нет, уголовных не обыскиваем так тщательно, — с завидной откровенностью ответил офицер, и правый глаз его закрылся. — У уголовных личный обыск проводится по-другому...

— Я буду подавать жалобу на незаконность ваших действий. — Она с трудом удерживала кашель, чувствуя, как залились краской шея, лицо. — Жалобу прокурору.

— Ваше право. — Дежурный офицер расписался на описи вещей и кивком головы отпустил женщину, производившую обыск. — Конечно, сударыня, при вашей опытности обыск не сможет ничего добавить компрометирующего. Так-с... — Офицер прошелся по дежурке и принялся размышлять вслух: — Запрошу ваше дело из Одессы. Там материальчик большой. В Одессе вы были известны под кличками: Новорыбная, Ванька и Стриженная.

— Стриженная? — иронически переспросила Людвинская, пораженная его осведомленностью.

— Да-с, клички в подполье частенько строятся на парадоксах.

— Меня психологические изыскания мало интересуют. — Людвинская тоскливо посмотрела за окно.

Офицер не спешил, будто говорил для собственного уразумения.

— И еще у вас клички Акушерка и Волевая. Первая после неудачной попытки легализоваться на курсах профессора Отта. Кстати, вас сгубил интерес к политике. С вашим темпераментом — и на легальном положении?

«Значит, в Петербургском комитете провокатор, — грустно раздумывала Людвинская, не отрывая глаз от сонного лица офицера. — Знает все, и дело не в феноменальной памяти, просто хорошо осведомлен. Кто же? Кто? Люси Серова? — Людвинская больше не слушала офицера. Сердце ее болезненно заняло. Как страшно разочароваться в товарище, отказать ему в доверии. — Почему она решила, что виновата Люси?! Объяснить невозможно. Интуитивно. От Люси получала деньги на содержание конспиративной квартиры, брала явки и адреса... А может быть, кто-то другой?! Но кто?! И все же надо передать на волю о своих подозрениях...»

— Вас препроводят в одиночку и за попытки свя-

заться с волей будут наказывать. — Офицер угадал ее мысли. — Мой долг вас предупредить.

— Разумнее было бы и камеру опечатать сургучной печатью, — ни входа, ни выхода... Изолировать так изолировать! В истории и такие случаи бывали...

— Все бывало, Татьяна Федоровна. Дело-то у вас серьезное: хранение оружия, распространение литературы преступного содержания, посягательство на свержение существующего строя...

— Пока все одни слова, — с усмешкой проговорила Людвинская. — Предъявите факты. Домыслы есть домыслы. И ведь на каждое явление существуют разные точки зрения, и вам как психологу это должно быть известно.

— Ба, да вы из пропагандистов, Татьяна Федоровна! У нас с вами одно оружие — слово.

— Оружие одно, да цели разные. Единомышленников-то из нас не получится.

— Соцдеки умеют делать дела, и слово не единственное их оружие. Это верно. Впрочем... Слово — призыв к действию. Главная опасность для государства — соцдеки, да, это самая разрушительная партия. А посему членов ее, особенно главарей, необходимо преследовать самым жесточайшим образом. Это моя принципиальная точка зрения.

«Не дурак, — удовлетворенно подумала Людвинская, — вот тебе и философ из охранного отделения! Крепко насолили ему соцдеки...»

Она молчала. Молчал и офицер, посматривая на арестованную. Он понимал, что она не из пугливых, прекрасно владеет собой и что много раз им придется встретиться, прежде чем он добьется хоть каких-нибудь показаний, что хлопот с ней предстоит немало, что она будет отказываться говорить до тех пор, пока ее не припрут фактами, и только бесспорными, но и в этом случае окажется подписать протокол. И опять начнется все сначала, предстоит битва с умным и сильным врагом, причем врагом убежденным и опасным, а суду нужны фор-

мальности, и эти формальности его раздражали, как пустая трата времени.

— У вас есть возможность облегчить собственную участь... — Офицер испытующе посмотрел на нее. — Дать откровенные показания.

— Что?! — задыхнулась от возмущения Людвинская, и слова ее прозвучали угрожающе: — За такое предложение...

— Можете не продолжать, Татьяна Федоровна, — прервал ее офицер с полным спокойствием. — За долгую службу в охранном отделении я знаю способ заставить людей вашего толка потерять власть над собой — предложить дать откровенные показания. Я их не ждал, а предложил по долгу службы.

«Ну и негодяй!» — Она вытирала холодный пот со лба.

Людвинская с нескрываемой враждебностью усталилась на жандармского офицера.

— В камеру семьдесят шестую! — приказал тот.

«МОСКВА, КАК МНОГО В ЭТОМ ЗВУКЕ...»

Холодным октябрьским днем ветер гулял хозяином по городу. Кружил сухой лист, поднимал окурки и, рассердившись, прятал их в подворотни, укоряя нерадивых дворников. Озорничая, затеял игру с высокой и худой женщиной: набрасывался, рвал платок. Женщина поглубже засунула руки в карманы пальто и шла, чуть выставив плечо. Остановилась, перевела дух и, наклонив голову, продолжала путь. Ветер поторапливал ее, свистел Соловьем-разбойником, ухал и постанывал. С удивительной легкостью он оставил ее в покое и зазвенел сухими кустами палисадников Марьиной рощи, зашерстил листья клена, чудом уцелевшего во двореке, пригнул до земли бузину, почерневшую от непогоды, распахнул по-хозяйски ставенки да застучал чугунным кольцом о прогнившую калитку.

Выстрел прозвучал неожиданно. Людвинская сжалась, замерла. Пуля просвистела и пропала в зеленом заборе, оставив едва заметный след. Женщина оглянулась, стараясь определить дом, из которого стреляли. Пожалуй, бесполезно: окна наглухо закрыты, и ставни заколочены. В эти дни неизвестности обыватели без крайности не высывались на улицу. Откуда стреляли? С чердака? Скорее всего... Юнкера? Что ж... Но, возможно, и так называемые ударники, их сняли с фронта по приказу генерала Духонина. Контрреволюция стягивала силы, стараясь удержать первопрестольную. Крутицкие казармы. Кадетский корпус в Лефортове, интендантские склады на Крымской площади, школа прапорщиков в Смоленском переулке — да разве пересчитать гнезда врага! Но бить с чердака по женщине? Бить в спину? Хваленые защитники отечества — честь и слава русского воинства!

Людвинская презрительно усмехнулась, и на чистом лбу обозначились морщины. Рука сжала браунинг. С оружием сдружилась давно: на баррикадах, когда ей прострелили легкое, в катакомбах Одессы, где устраивала тайные склады, в Петербурге, когда организовывала побег политический из тюрьмы, а позднее закупала револьверы в Стокгольме, переправляя их в Россию. Так и остались в памяти длинные ящики, укрытые промасленной бумагой, и вороненый блеск стали. В эти дни двоевластия пускаться без оружия по Москве рискованно: белогвардейцы, а то и грабители, как тараканы, вылезли из щелей. Война, разруха, голод... И не сегодня, так завтра, в этом она не сомневалась, город покроется баррикадами. Старое не уходит без борьбы. Надежды на мирный исход революции нет... Шел 1917 год.

И все же откуда стреляли? Вот дом Попова с выбитыми стеклами. Булочная с покривившейся вывеской. Пивная с обгоревшим парадным. Дом Хорошеева с резными ставнями. И вдруг она поняла — стреляли именно в нее. Людвинскую, организатора Сущевско-Марьинского района! Что ж, борьба есть борьба! Она дослала патрон

в ствол браунинга и, стараясь запомнить низенькие оконца, повернула к иллюзиону «Олимпия». И опять просвистела пуля. Близко, так близко... Казалось, она физически ощутила прикосновение. Так и есть, прострелили рукав. Пальто-то старенькое, парижское! Нужно будет прочесть дома и чердаки, всякое может случиться. Наверняка офицерье устроило засаду.

— Товарищи! Товарищи! — Людвинская подняла руку, стараясь привлечь внимание рабочего патруля, совершавшего обход улиц. — Хорошо, что встретила...

Ветер перехватил дыхание, и она замолчала, ожидая, когда приблизится патруль. Их было трое. С красными повязками и винтовками. Сойкин сосал пустую трубку. Патронташ болтался на ремне и мало вязался с его штатской внешностью. Близорукие глаза, рыжеватые ресницы, шея, укутанная шарфом, рваные ботинки и обтрепанные брюки. Кожаная куртка, их выдавали патрулю по настоянию Людвинской, торчала колом. Зато его напарники — молодцы. Косая сажень в плечах, красные банты на кожанках и веселые глаза. Парни были редкостно похожи: тонкие лица, пухлые губы, веснушки на курносых носсах и это улыбочливое, приветливое выражение, которое сразу располагало к ним. Парни шли вразвалочку, как бывалые моряки.

— Братья Ивановы... Петр и Сидор... — отрекомендовал напарников Сойкин, перехватив любопытный взгляд Людвинской. — Кто Петр, кто Сидор — этого и мать родимая, поди, не разбирает. Близняшки... Отца их, Ивана Ивановича, ты должна по Одессе помнить... Он сказывал, что ты его из Питера отправляла за границу. Он в благодарность, как медведь, все перекорежил в доме твоём: то ли шпик вертелся около вас, то ли студентик, то ли кто-то другой — запомятовал.

— Ну и дитятки вымахали, что версты коломенские! — восхитилась Людвинская и дружелюбно пожала парням руки. — Отец много хлопот мне доставил, а человек он замечательный!

Ей очень захотелось рассказать этим парням о человеке, которого приговорили к смерти, а он совершил отважный побег (она укрывала его с таким риском в Петербурге!), о том, как искала его охранка, а он почти месяц проторчал в ее комнатенке. И этот человек доводился им отцом! И еще ей хотелось рассказать об Одессе и о том, как она с Иваном Ивановичем строила баррикаду, как отбивалась до последнего патрона, как громили их каратели, как прострелили ей легкое. Но она молчала и только смущала парней своими внимательными, испытующими глазами. Да, жизнь прошла, столько уже пережито, столько осталось за плечами! И не знала она, что прожита была только половина уготованного, что еще добрых полстолетия суждено ей будет работать, и дерзать, и познать высшее счастье — свершение своих надежд.

— Отец здоров? — произнесла Людвинская с трудом, не в силах оторваться от воспоминаний. — Обосновался в Москве?

— В Москве... — хором протянули парни, удивленно переглянувшись. — Где ему быть! — Парни ухмыльнулись и замолчали.

— Петр, рукав-то сожжешь! — наконец очнулась Людвинская и улыбнулась.

Парень держал папироску в рукаве кожанки, как озорник.

— Сожгу или нет — бабушка надвое сказала. — Петр надвинул на глаза кепку. — А у вас, Татьяна Федоровна, рукавчик-то прострелен! Ей-ей, пулевое отверстие. — На его крутом лице отразилось недоумение. — Где это вас угораздило?

— Где? Она на троицын день с девками хороводы водила... — огрызнулся Сойкин и выбил несуществующий табак из трубки. — Прострелили? Скажи спасибо, сама жива! Татьяна Федоровна, стыдно под каждую пулю-то лезть... По городу нечего одной в такие-то дни шествовать. Чай, не маленькая, кумекаешь, что к чему! Учишь

нас как грамотная, а свою жизнь от шальной пули уберечь не можешь!

— Не ворчи, старикан! Волков бояться — в лес не ходить! — отшучивалась Татьяна Федоровна, но, уловив в глазах Сойкина осуждение, покаялась: — Спасибо, буду поаккуратнее.

— Говорят, Кремль взяли? — приподнял кепочку один из Ивановых (братья поменялись местами, и она их не могла различить).

— Нет, положение тяжелое. Правда, в Кремле еще держатся наши, но солдаты отрезаны, связи нет. Тут в переулках и тупичках, — Людвинская указала рукой, — нужно прочесать. Хорошо, патруль встретила, а то... Видано ли, чтобы за женщинами с винтовками гонялись? Так до озверения можно дойти.

— Винтовки нужны рабочим, товарищ Людвинская, — пробасил Петр, бросив на землю окурков, бросил с сожалением — папиросы-то на вес золота! — На нашу фабрику оружия — кот наплакал: три винтовки да семь револьверов. Это воробьев пугать, а мы ведь новую власть завоевываем! Неувязочка маленькая...

— И завоюем! — резанул Сойкин, которому был явно не по душе разговор. — В пятом году на Пресне булыжником казаков гнали, да как! Те еле ноги упили! А тебе сразу оружие! Много стали понимать, молоко на губах не обсохло. Горели — не робели, а уж сгорели — нечего робеть! Правда, Федоровна?

Людвинская не вмешивалась в разговор. Конечно, Сойкин говорил не дело, да и Петра оборвал от отчаяния: на фабрике, поди, из него рабочие душу вынули. Винтовки... Винтовки... Винтовки... Винтовки и ей по ночам снятся. И Петр прав: без оружия не завоевать власти, на пушки с булыжником не попрешь. Временное правительство все новые и новые части снимало с фронта и бросало против Советов. Но рабочие-то молодцы: спокойствие, достоинство! И все же нужно разыскать оружие, взяться и добыть хоть из-под земли.

— Умная ты женщина, Татьяна Федоровна, а глупая, — прервал ее раздумья Сойкин. В глазах хитрость, на губах усмешечка. — У нас в цехе один кричал: «Все сволочи, кроме портретов», а на портретах-то — Керенский! Ну, мы стали его учить уму-разуму, а он все кричит. Вразумляли, вразумляли, а потом...

— А как вразумляли? — любопытствовала Татьяна Федоровна.

— По шее дали, — вздохнув, ответил Сойкин и добавил: — Как прикажешь говорить, коли добрых слов не понимает? Долдонит и долдонит, словно дятел. Стукнули по шее — примолкнул. На заводе митинг, а он карусель развел. Всыпали, чтобы людей не баламутил.

— Способ радикальный, конечно, но пользоваться им часто не советую. Если у парня кулаки оказались бы крепче твоих, тогда он прав? Правда-то была на твоей стороне... Вот и получается, правому человеку выдержка нужна! — Людвинская говорила серьезно, но в душе посмеивалась над таким оригинальным способом ведения спора. — Что хотел этот парень?

— Ругал комитетчиков, оружия требовал.

— При чем здесь Керенский? — удивилась Людвинская.

— Да другого портрета в цехе не было, — потупился Петр. — Керенский мне и самому не нужен, сволочь он отпетая...

— Ну и дела... Горяч ты, Сойкин! Вот не ожидала от тебя самосуда, а еще сознательный пролетарий, — казнила его Людвинская, только глаза ее смеялись. — Оружие нужно добыть, порыскать по железной дороге, на Виндавском вокзале, покумекать с солдатами, а ты кулаками?! Аника-воин!

— Вот и я говорю, — не вытерпел Петр и оттолкнул своего брата, мешавшего ему говорить. — Ругаться каждый может, а ты делом докажи правоту. И еще о портрете — на том месте раньше висел Карл Маркс!

Людвинская принялась хохотать. Годы не меняли ее.

Как в молодости, всплеснула руками и хохотала до слез. Значит, Петр и был тем незадачливым оратором, но и Сойкин-то забияка.

— Приходите, товарищи, к пяти в райком. Есть у меня одна мысль... — Людвинская не договорила и приветливо подняла руку. — Значит, к пяти...

...Пятый день идут в Москве боп. Людвинская похуда до черноты, глаза ввалились, бездонные и настоженные. Голос хриплый и отрывистый. Парижское пальто заменила на кожанку, как и шляпу на шерстяной платок. Кожанка болталась на ее худых и острых плечах, карман оттопыривался от браунинга. В черных волосах густая седина, и с каждым днем все больше. Жизнь такая!

От Александровского вокзала напирали юнкера, вооруженные до зубов. Юнкера удерживали и Никитские ворота, один из опорных пунктов на подступах к Кремлю. Захватили аптеку и контролируют Арбат, Никитскую. Из Суцеско-Марьиинского района ушел отряд, чтобы выбить белых из аптеки. Это приказ Военно-революционного комитета.

Людвинская бывала в этой аптеке и не представляла, что это двухэтажное здание с ажурной железной дверью станет ареной такой битвы!

— Где? Где запропастился отряд? — кричали из гостиницы «Дрезден». Вот когда заработал проклятый телефон! — Доложить обстановку, и незамедлительно!

Татьяна Федоровна растерянно опустила телефонную трубку. Она и сама волновалась. Отряд не иголка и не мог провалиться сквозь землю. Значит, пробирался с боями к Никитским воротам. С отрядом ушла и связанная Полина Селезнева, с военно-артиллерийского завода на Лесной. Скромная и хорошая девушка. С умными глазами на улыбочатом лице. Одели ее для камуфляжа гимназисткой. В длинное пальто с пелериной и меховым воротни-

ком. Муфта болталась на шнурке. Капор из белки оттенял глаза в пушистых ресницах. Девушка смущалась своего наряда, но Людвинская настояла — так легче пробираться через Бульварное кольцо и Страстную площадь.

— Поля-то как благородная, — рассказывал друзьям Петрухин не без удовольствия. — «Ой, ой, Татьяна Федоровна, да куда же я в таком наряде!» — Петрухин изобразил, как Поля кокетливо-смущенно оглядывала свой наряд. И странное дело, в этом громоздком и неловком парне Людвинская сразу узнала и жесты, и миимику, и голос Полины Селезневой. Петрухин стал словно меньше ростом, лицо округлилось, губы сложил бантиком.

— А дальше-то что? — хохотали вокруг рабочие. — Дальше шпарь, Петрухин.

— «Ничего... Ничего... Еще на раскаленном гвозде кудри себе завей! — заговорил Петрухин голосом Людвинской. Он подобрался, стал выше ростом, лицо вытянулось, волосы расчесал на прямой пробор, а в голосе жестковатые потки. — Было время, я под парик косы прятала, а ты переодеться по-настоящему не хочешь! В подполье нет мелочей! Тебе дают партийное поручение!»

Петрухин скосил глаза, стараясь понять, какое это производит впечатление на Людвинскую. «Ну и ну, — дивилась Людвинская, стараясь уловить сквозь громкий смех слова Петрухина. — Актер, настоящий актер. Победим белых и Петрухина определим в театр. Непременно, парень-то каких способностей! Только почему мне такой старческий голос придумал? Неужто я так постарела?»

Людвинская торопливо приводила в порядок бумаги, но мысли ее были заняты Полиной Селезневой. По инструкции девушка должна была вернуться в штаб с доносением. А если ее убила шальная пуля? Нет, это ужасно! Взбредет такое в голову! Людвинская нервно передернула плечами. Скорее всего она не прошла через Страстную площадь. Там баррикады, сильный обстрел.

Но девушка не трусливая! Значит? Но этому она не могла верить — и ждала, ждала... Сердце ныло, словно змея обвила его и душила.

Полина Селезнева пришла, когда Людвинская уже перестала надеяться. От усталости едва держалась на ногах. Боже, в каком виде?! Без капора. Правая бровь рассечена. На щеке кровь и большая ссадина. Пелерина разодрана, из рукава выдран клочок.

— Полюшка! Милая!.. Садись, садись... Что случилось?

Девушка провела рукой по лицу.

— Случилось?! Я у Страстного монастыря прикинулась пьяной. Увидела офицера и пошла прямехонько. Лезу на рожон — и все. Офицер опустил руку. Залп. Я не остановилась: пули, мол, мне нипочем. Офицер затрясся: «Куда? Куда прешь, дурья башка?» Я помахала ему ручкой и прошла. Действительно, бог бережет пьяных и влюбленных.

— Молодец! И все же, что случилось? — Людвинская быстро подсунула Селезневой свой паек хлеба. — Ешь, голодная ведь.

— Хлеб?! — удивилась Селезнева и потупила глаза, боясь выдать голодный блеск. — А как же вы, Татьяна Федоровна?

— Не беспокойся, я тут без хлеба не сижу, — солгала Татьяна Федоровна. Все дни она жила на одном кипятке — благо до него великая охотница: привычку вынесла из тюрьмы.

— Это правда? — Поля принялась за хлеб, запивая водой. — У Никитских ворот юнкера нашим устроили ловушку. Аптеку в арсенал превратили — забили пулеметами, окружили баррикадой. Наши бросились на штурм, юнкера полоснули кинжальным огнем! Сколько там полегло! К юнкерам на подкрепление подошла школа прапорщиков.

— Значит, аптеку так и не взяли?

— Взяли, Татьяна Федоровна, а удержать не смогли.

Прапоры вооружены до зубов, кадровые... А наши? На винтовку по десятку патронов да команда «патроны жалеть!», — Селезнева старательно подобрала крошки со стола. — Отряд-то я довела, только с донесением решила не спешить. Бой, пули свистят, раненых много, хотела санитарам подсобить.

— Это ты правильно решила, — согласилась Людвинская, понимая, как трудно уйти и оставить товарищей в беде.

— Наши укрылись в доме, что напротив аптеки, такой пятиэтажный. К нему Тверской бульвар примыкает, там еще газончики. Юнкера подтянули артиллерию и своротили угол у дома. В доме начался пожар... — Селезнева говорила размеренно и слова подбирала точные. — На втором этаже много раненых. Если юнкера овладеют домом, то они их пристрелят...

— Пристрелят раненых?! — Людвинская поднялась и быстро завязала платок. — Пристрелят! Там же красногвардейцы!

— Их очень немного, они едва держатся.

— Сколько они продержатся? — уточнила Людвинская, подзывая Петрухина и глазами показывая на записи на столе. — Сколько?

— Думаю, не более двух часов.

Людвинская торопливо захлопнула дверь.

ПАРЛАМЕНТЕР

Пожалуй, это был самый трудный день в ее жизни. Добраться до Никитских ворот по Москве, напавшей развороченный муравейник, оказалось непросто: обстрелы, баррикады, обходы, шальные пули. Стрелял каждый дом, в каждом парадном засада, на каждом чердаке пулемет.

На Малой Дмитровке от Купеческого клуба, зеленого здания с большими окнами, до церкви Рождества Богородицы, белой резной игрушки, вытянулась баррикада.

да. Опрокинутый трамвай, вывороченные фонари и обгоревшие бревна, заваленные мешками с песком. Рядом с мешком — детская коляска, у которой крутились колеса. В крутящихся колесах была та же беспомощность, что у красавицы церкви, плетеной из кружев.

Людвинская двинулась в обход. Прижималась к домам, окна которых слепили ставни. Страстной монастырь сиял золотыми куполами. Осталось перебежать площадь и Тверским бульваром прямехонько до Никитских ворот. Рядом с Людвинской женщина с кошелкой, случайная попутчица. Она что-то пыталась сказать, но в этом грохоте Людвинская не разбирала ее слов. Видела ямочки на румяных щеках и подбородке. Женщина перекрестилась на Страстной монастырь и бросилась бежать к угловому двухэтажному дому. Но тут забил пулемет с колокольни монастыря. Пули со свистом ударились по булыжнику. Женщина упала, схватившись за бок, потом повернулась к Людвинской. На лице застыла виноватая улыбка. Убили! Вот тебе и святая церковь!

С величайшей осторожностью удалось добраться до Тверского бульвара. Короткими перебежками, прячась в парадных и рассчитывая время между выстрелами. У памятника Пушкину перевела дух и замерла.

Тверской бульвар был безлюден. Изредка в окнах мелькали тени да испуганно хлопали ставни...

Людвинская шла торопливо. Ворошила слежавшийся лист, прибитый ветром и снегом. Ухала артиллерия. По звуку определила, что батареи на Ходынском поле. Значит, белые очищают подходы к Кремлю. Она заспешила и, не в силах сдержатъ нетерпение, бросилась бежать.

Около особняка Рябушинского, миллионера, из тех, кто грозился костлявой рукой голода задушить революционную Россию, остановилась. Дом из серого камня, как крепость, с высоким крыльцом, охраняли застывшие гарпии. Она и сама прижалась к особняку, словно и ее могли защитить эти чудища.

Горел дом, примыкающий к Тверскому бульвару, тот самый, о котором говорила Полина Селезнева. Пламя лизало колонны, обтекало балкончики и рваными космами устремлялось в вышину. С угла дома, обращенного к Малой Бронной, сорвало крышу, и там огонь, подхваченный ветром, закрывал окна, плясал длинными языками и окутывал плотным дымом нижние этажи. А вот и аптека с выбитыми окнами и развороченными дверьми. Болталась на ветру вывеска с красным крестом да лежал вывороченный фонарный столб. Взметая мерзлую землю, пролетел артиллерийский снаряд.

Людвинская перебежала и укрылась в доме. Прислонилась к лестнице и пыталась выглянуть на площадь. В парадном ветер разгуливал хозяином. Было холодно. Очевидно, дверь кто-то стащил на баррикаду, а битые стекла блестили на снегу.

— Господи, матушка-заступница, покарай виновных и спаси безвинных... Что творится на белом свете? — Последний вопрос был адресован уже к Людвинской.

Татьяна Федоровна подняла голову. На лестничной площадке появилась старушка, сухонькая и сморщенная. Дверь в квартиру приоткрылась, и вылез за хозяйкой кот. Облезлый. Худущий. В передней на стене иконы — это на случай возможного погрома черносотенцев. «Экая предусмотрительная старушка, — подивилась Людвинская. — Вот только не предугадала, какие бои за аптеку разгорятся, а то бы от греха подальше съехала...»

— Ховайтесь, гражданочка... ховайтесь! Времечко такое лютое. — Старушка, мелко крестясь и кланяясь, приглашала в квартиру. — Забыли бога люди... Ох, грехи наши тяжкие!

— Напротив в доме есть раненые. — Людвинская показала рукой в сторону Тверского бульвара. — Есть у вас простыни? Я бы отнесла их раненым. — Она взглянула на старушку с иконописным лицом. — Нужно помочь людям...

— Вас убьют! Здесь у окна и то страшно стоять. —

Старушка осенила себя крестом и с любопытством уставилась на Людвинскую. Подумав, вздохнула: — Простыни-то есть, на смерть себе берегла, да берите... Кто теперь о смерти думает, она и так в каждом доме... Кипточка хотите?

— Давайте. — Людвинская благодарно кивнула. Старушка ей нравилась. И все же как пробраться в горящий дом?

Решение было простым и неожиданным. Парламентом! Именно парламентом! Старушка показала черный ход, грязный, полуразрушенный. Черный ход вел к церкви Большого Вознесения. Зеленый круглый купол зиял пробоинами от артиллерийских снарядов. В этой церкви венчался Пушкин со своей красавицей женой Натальей Гончаровой, а теперь по ней бьют снаряды.

За церковной оградой на снегу лежали девушки-санитарки. Белели сумки с красными крестами. Ба, да это ее девушки. Они подняли головы от земли, прислушивались.

— Сюда! Сюда! — Людвинская скатилась с лестницы и поманила рукой.

Девушки кинулись к Людвинской. Они тяжело дышали и, перебивая друг друга, говорили. Быстро и путано. Наконец Вера, старшая, завладела вниманием:

— Наши в том доме. Через квартиру богомолки можно выйти в подъезд на Большую Никитскую. А там двадцать шагов до горящего дома. — Вера перекинула косу на грудь, пальцы ее вздрагивали. — Как попасть в дом? Мы извелись, но ничего не придумали. Беяки не дают головы поднять.

— Нужно выбросить белый флаг и пройти парламентом, — сказала Людвинская с удивительным спокойствием, как о чем-то давно решенном. — Парламентер, сестра милосердия потребуют прекращения огня на два часа для оказания помощи раненым. Это положение предусмотрено во всех мировых конвенциях.

— Кто будет этим парламентом? — У Веры от волнения дрожали губы. — Белые озверели...

— Я... Я одна... — Людвинская подняла глаза. — Я как самая опытная...

— Вас расстреляют первой пулеметной очередью! — возмутилась Вера. Она ждала поддержки от подруг. — Почему молчите?

— Возможно... Трудно предугадать, что может случиться... — согласилась Людвинская и, не давая возможности ей возразить, еще раз повторила: — Возможно...

— У меня такое чувство, что офицерье упивается своей властью... Мы, поди, добрых три часа отсиживаемся, а они стреляют и стреляют!

Людвинская молчала. Развороченный снарядом дом, дым пожарища, разъедавший глаза, стена осажденного дома, изрешеченная пулями, лестница с выбитыми стеклами, девушки, бледные от смертельной опасности...

— Да, иного выхода нет. — Людвинская жестко приказала: — Ждите меня в парадном... Подойдете, когда взмахну белым флагом. Только в этом случае! Все остальное запрещаю, понимаете? Запрещаю!

И вот она на площади. Ветер зло набросился на белый флаг с красным крестом, который держала в руках. Рвал его, пригибал к земле. Людвинская подняла флаг над головой и, не отрывая глаз, смотрела на аптеку. Шла быстро, легко. И сразу же засвистели пули, выбивая из булыжника каменные брызги. Она прибавила шагу. Вот и баррикада у аптеки. Рельсы, столбы, проволока. Она миновала эти роковые двадцать метров. Бешено стучало сердце, кровь прилиwała к вискам, опалая жаром и вызывая липкую противную дрожь. Расстегнула воротник пальто, широко вздохнула. Она ни о чем не жалела, не вслушивалась в свист пуль. И вдруг зазвенела тишина, казавшаяся оглушительной и пугающей. Верно, и белые решили узнать, зачем появилась среди огня высокая и худая женщина.

— Прекратите огонь! Пре-кра-ти-те! — Людвинская размахивала флагом. — И у нас и у вас есть тяжелораненные. Они нуждаются в помощи! Я как сестра милосер-

для требую прекратить огонь на два часа для оказания помощи. Мы должны проникнуть в горящий дом и вынести раненых. — Людвинская, испуганная тишиной, почувствовала, как пересохло горло. — Можете в нас, сестер милосердия, стрелять, но это будет варварством. У каждого из вас есть жена, сестра, мать, и они, как и мы, должны выполнить долг человеколюбия! Нас здесь пятеро, и мы войдем в дом, потому что там истекают кровью солдаты. — Людвинская поднялась на цыпочки и, боясь, что ее не услышат, прокричала: — Ра-не-ные! Нельзя назвать человеком того, кто поднимет руку на сестру милосердия. Это не солдат, не гражданин! Да, мы без оружия, мы не солдаты... Обыскивайте нас! — Голос Людвинской задрожал от гнева и боли. — Я сейчас позову из парадного моих подруг, сестер милосердия, они несколько часов не могут оказать помощи раненым. Стреляйте в женщин, если среди вас есть негодяи...

Из парадного вышли девушки. Побледневшие, суровые. Они направились в центр площади, где стояла Людвинская. Девушки не пригибались и не надеялись на чудо, вернее, они были уверены, что скоро начнется стрельба и придет конец. И это ожидание неизбежности рождало силу. Они шли на смерть, потому что среди огня и пожара их ждала безоружная Людвинская, потому что погибали раненые товарищи. Надо было идти, и они шли...

И только теперь, когда девушки были так близко, Людвинская испугалась. Любая шальная пуля могла принести смерть. Она взмахнула флагом и прокричала:

— Пе-ре-ми-рие! Мы ваши сестры и жены... Не стреляйте... Мы выполним долг совести!

Аптека молчала. Людвинская бросилась к дому на Тверском бульваре. В парадном торопливо расчищали проход красногвардейцы. Двери оказались забаррикадованными, и она с трудом пробиралась через мешки с песком и сломанную мебель. Дом готовился к длитель-

ной осаде. Волков, командир отряда, встретил ее упреками:

— Татьяна Федоровна, не дело задумала. — Волков обтер рукавом почерневшее от копоты лицо и хмуро повторил: — Не дело... С этим сволочным офицерьем ни о чем не договоришься. Я посидел от ужаса, когда вы вышли под пули... Сумасшествие какое-то... Буду жаловаться Землячке в Московский комитет!

Татьяна Федоровна благодарно обняла Волкова, хлопала по кожанке.

В подвале на соломе лежали раненные. Их успели перенести со второго этажа в безопасное место. Тускло светили керосиновые лампы, распространяя удушливый и сладковатый запах. Вера присела около раненого, лежавшего на соломе, начала делать перевязку. Парень морщился от боли, но балагурил. С верхнего этажа спускались красногвардейцы. Жадно набрасывались на ведро с водой, пили мелкими глотками, с удовольствием. В углу валялись пустые ящики из-под патронов. Значит, в этом горящем доме и патроны кончились..

— Товарищи, время дорого! Перевязки прекратить... Выносить раненных вместе с оружием. Дом будем сдавать, вы дрались героически, но патронов нет, да и пожара не погасить... Скоро подтянем двинцев, тогда и выбьем беляков. Волков, почему медлишь?

Командир курил сигарку и молчал. В воспаленных глазах усталость и боль. Ответил хрипло, почти зло:

— Нам здесь крышка — юнкера не выпустят. Хорошо, если раненных спасете. Юнкера штыками примутся их добивать... Мы будем отстреливаться до последнего патрона и дорого продадим свою жизнь. Так, братва?

Людвинская читала на лице Волкова и на лицах красногвардейцев ту смертельную усталость и отрешенность, за которой не воспринимается страх. Они радовались за раненных, хотя до конца не верили в их спасение, тревожились за женщин, так неожиданно вошедших в их жизнь. И как это было ни странно, но женщины мешали

им в эти последние часы самоотрешенности, ибо были той ниточкой, которая их связывала с жизнью, рождала в душе надежду и вселяла чувство неуверенности. А что будет с ними? Да кто мог ответить на этот вопрос!

— Командир Волков, прикажите, чтобы красногвардейцы подтаскивали носилки с ранеными к выходу. Девушкам нужно помочь. С Малой Бронной раненых отправят в госпиталь, в Купеческий клуб. — Людвинская говорила резко, стараясь вывести красногвардейцев из того чувства оцепенения, которое наступило после осады, потребовавшей нечеловеческого напряжения. — Куда без оружия? — Глаза ее зорко следили за каждым носилками. — Обязательно кладите оружие... Борьба только начинается.

— Оружие... Оружие!.. — покрикивал и Волков, укрывая винтовку полушубком.

Красногвардейцы поднимали носилки и бросались к выходу. Первыми показались на площади с носилками Вера и Наташа. Стучали по обледеневшему снегу сапожки. Тащили с трудом, стараясь не смотреть на проклятую аптеку, притихшую, как змеиное гнездо. Людвинская, провалившись в сугроб, опередила носилки и подняла белый флаг. Стояла лицом к аптеке, всматриваясь в глухую баррикаду. Краем глаза видела, как Волков выкатил пулемет к ступеням подъезда и взял беляков на прицел. Скуластое лицо его побледнело до синевы. Теперь Маша и Поля сгибались под тяжестью. Носилки провисали, раненый был не из легких. И опять взметнулся белый флаг в руках Людвинской. Казалось, она физически ощущала опасность. Там, на баррикаде, ей чудились скрытые движения и шквал огня, который мог вспугнуть зыбкую тишину. Но минуты перерастали в час, эвакуация приближалась к концу, а баррикада молчала. И только Людвинская вросла в морозную землю, стояла, не выпуская белого флага.

Уже не один раз девушки с носилками возвращались в горящий дом. Пролетали шальные пули, но никто не

обращал внимания. Юнкера не нарушали перемирия. Острые глаза Людвинской увидели, что у беляков на баррикаде началось движение — санитары убрали убитых и возились около раненых.

Мимо Людвинской проплыли носилки. Раненый в горячечном бреде... Поминутно вскакивал, кричал. А паренек-то молодой, курносый, с веснушками на лице.

На этот раз в подъезде собрались девушки и Людвинская. Они стояли в проходе, зажатом мешками с песком и железными кроватями. В доме остались лишь легкораненые. Красногвардейцы курили, табачок передала осажденным Вера, и виновато поглядывали на товарищей.

— Татьяна Федоровна, мы решили не эвакуироваться, — поплевал на сигарку солдат со шрамом на щеке. — Винтовку держать можем... Как дружков оставить? На миру и смерть красна, а то совесть по ночам замучает.

— Максимыч, я тебя сама потащу. — Людвинская знала солдата и старалась перевести разговор в шутку. — Время есть, дом не удержать, пожар перекинется в нижние этажи, и юнкера будут вас, выкуренных дымом, брать по одному на мушку. Революция только начинается, и не большое геройство так умереть!

Красногвардейцы молчали. Конечно, положение безнадежное и Людвинская права, но отступление всегда дело постыдное.

— Татьяна Федоровна, тяжелораненых вынесли. — Вера развернула носилки и недоуменно уставилась на парня в дубленом полушубке. — Нам здесь оставаться? А? Раненые-то наверняка...

— Товарищи, время истекает. Быстро на носилки... — Людвинская торопила, боясь ненужных вопросов. — Теперь под видом раненых будем выносить красногвардейцев.

— Давай, Ванюша, — просительно обратилась Вера к парню в полушубке и неуверенно прибавила: — Правда, здоров ты как черт!

Парень возмущился от такого предложения: лицо покраснелось, и в глазах упрямство. «Так у них любовь, — поразила Людвинская, рассматривая и потупившуюся Веру, и взъерошенного парня. — То-то он из подъезда выбегал, все рвался проводить Веру с носилками. Боялся... Вот и война и любовь, и все это вместе — жизнь».

Последним выносили из дома командира Волкова. Командир с неохотой и смешками, которыми он прикрывал волнение, сам подтащил носилки к двери. Огляделся по сторонам, словно прощаясь с домом, и лег. Дым застилал глаза, и командир плакал. Голоса раздавались глухо, в доме поселилось эхо.

До конца перемирия оставалось десять минут. Людвинская повернулась к баррикаде, и ветер, не затихая, трепал белый флаг.

НОЧНОЙ ПОХОД

Как-то во Франции в эмигрантском кафе, где вечерами собирались русские, заспорили о революции. Спорили жарко, страстно, главное — победа! Все дальнейшее казалось светлым и само собой разумеющимся. Только Владимир Ильич Ленин, присутствовавший при этих разговорах, становился озабоченным и задумчивым. В те далекие дни, она не понимала его задумчивости и всякую осторожность в суждениях не могла оправдать. Теперь навалились такие трудности, от преодоления которых зависело спасение революции, и как часто она вспоминала парижское кафе и лицо Ильича.

Людвинская сидела в садике церкви святого Пимена на Селезневке. В доме купца Курникова шел обыск, и она, ожидая результатов, отдыхала у разлапистых елей. Искали хлеб.

Церковь не пострадала от артиллерийских обстрелов. В этот сумрачный день она была полна довоенного покоя и благополучия: сверкали золотые купола, искрились медные колокола с длинными языками, прижаты-

ми веревками. По крыше расхаживали голуби, находившиеся, недовольные непогодой. Церковные ворота широко раскрыты. Народу мало. На сквозном ветру сидели калеки и убогие и канючили милостыню.

Людвинская похудела за эти ноябрьские дни 1917 года. Глаза казались непомерно большими, резко выделялись брови на бледном лице. В Москве голод! Пайки крошечные, а сегодня на заседании Суцеско-Марьинского Совета по ее предложению их уменьшили до ста граммов — четверть фунта хлеба в день! Запасы муки невероятно малые, а тут спекулянты.

Она прижалась спиной к дереву. От голода кружилась голова. За тем, чтобы она ела, с недавних пор следил Петрухин, добрая душа. Как-то не без ехидства, которого она не ожидала, сказал: «Вы бы хоть раз в неделю кулеш похлебали, а то как в крепости — на хлебе и воде. Посадили себя на карцерное положение и счастливы. Так и до темного карцера можно дожить...» Она рассмеялась, а Петрухин выпалил: «С нонешнего дня буду кормить сам, а то до мировой революции не дотянете!» Конечно, питаться она стала регулярнее, но чуда не произошло — все та же четвертушка хлеба и кипятка. Хлебные лабазы и в Марьиной роще, и на Сухаревке оказались пустыми. Она и сама ходила в ночные облавы на спекулянтов, но пока все безрезультатно.

Петрухин присел на лавочку бесшумно. Она вздрогнула и по его расстроенному лицу поняла, что обыск результатов не дал.

— Татьяна Федоровна, махнем еще разок на Сухаревку. — Петрухин свернул козью ножку. Закурить не решался, знал — Людвинская не переносила дыма. — Там есть купец Пузанков... В свое время имел торговлю хлебом. Сейчас гол как сокол, да что-то мне не верится. Прощупать бы его хорошенько. А?

...На Сухаревке творилось нечто несусветное: орды беспризорных, облепивших, как мухи, котлы для варки асфальта, полупьяные молодчики с завитыми чубами,

закрывавшими лица; голодные крысы, переставшие бояться человека; чавкающая грязь, в которой проваливались и разъезжались ноги. Все кричало, стонало, толкалось, суетилось. Появление рабочего отряда вызвало панику. Бежали беспризорники, сверкая голыми пятками и запахивая женские кофты. Подхватывали лотки с леденцами старухи. Скулили отошавшие собаки с запавшими боками. Волновалась «чистая» публика, прижимая к груди лампы и подсвечники.

Купец Пузанков оказался злым и худым как жердь. Он скрестил длинные руки и замер, привалившись к косяку лабаза. Замок болтался в ушке, тяжелый, смазанный маслом от ржавчины. Дверь, кованная железом, открыта. В лабазе шаром покати. Пусто, все выбрано под метлу. Но Петрухин не сдавался. Походил по лабазу, посмотрел в углах и завертелся у подвалов.

— Открывай люки! — прикрикнул он повелительно. — Что ты мне тычешь в нос пустые закрома с крысами...

Петрухин зажег свечу, хотя было еще светло, и направился к двери, ведущей в подвалы. Так, значит, здесь и подвалы! Робкий свет выхватил крыс с хищными глазами и длинными хвостами. Под ногами хлюпала грязь...

Люки, припорошенные соломой и залепленные грязью, Людвинская не сразу их рассмотрела. Петрухин потрогал замки, разгребая грязь руками. Купец отошел к двери. Глаза бегающие, колючие, как у крыс.

— Именем революции открывай подвалы! — Петрухин щелкнул затвором винтовки. — Знаю, что там хлеб припрятал, бандюга! Свидетели есть...

Упоминание о свидетелях вывело купца из оцепенения:

— Что за свидетели такие?

— Опосля узнаешь, спекулянт! — Петрухин откуда-то раздобыл керосиновый фонарь и направил столб света на купца.

— Действуйте, товарищи! — Людвинская перехватила взгляд Петрухина. — Именем революции...

Петрухин поплевал на руки, поднатужился и начал ломом вскрывать замок. Ему помогал Волков, тот самый командир — из горящего дома на Никитской. Бравого командира не узнать — у него несколько дней назад умерла дочь. Умерла от голода. Волков все дни курил да смахивал тыльной стороной ладони слезы. Замок заскрипел и, лязгнув стальной челюстью, отвалился. Пахнуло затхлостью, показалась гнилая солома с белой плесенью. Петрухин спрыгнул в подвал, но против ожидания не провалился, более того, стоял на чем-то твердом и пружинил ногами. Волков понимающе крикнул и подтолкнул вперед купца. Петрухин быстро выкидывал солому, полусгнившие доски и вдруг закричал:

— Волков, свети! Тут мешки... Да-да, мешки под брезентом!

— Антихристы... Богом проклятые... — зло и бессильно шептал купец. — Дорылись, собаки... Обокрали на старости лет... Обокрали...

— Прикуси язык! — приказал Волков. Он размахнулся, но не ударил, только скривился, как от боли. — Тут детишки мрут, а ты муку гноишь... Сволочь...

Людвинская не останавливала Волкова, она и сама готова была избить купца. Хлеб гнить? Гнить в такое время?

— Мое... мое... Кровью и потом заработал! Без денег не отдам! — Купец размазывал грязные слезы. — Какие у тебя свидетели, подлюга? Выкладывай...

Петрухин подмигнул Людвинской и прогремел над ухом купца:

— Свидетель — пролетарская совесть!

Купец помертвел от ярости. Волков осветил его фонарем. Купец был страшен: он трясся и грозил сухоньким кулаком. Петрухин вытаскивал из подвала мешки и даже на купца посматривал без прежней ярости. Хлеб нашли, хлеб!

Подошла подвода, погрузили мешки. С осторожностью, как великую ценность. Хрипло плакал купец,

он обмяк и едва не падал от горя. Волков посадил его на ступеньки и нахлобучил на голову картуз. Хотел что-то сказать, но, махнув рукой, закурил.

— Как же ты узнал, что в подвале хлеб? — Людвинская светилась от счастья.

— Я узнал по крысам, Татьяна Федоровна. — Петрухин тоже радовался. — Крысы ушли бы от пустых подвалов. Они учуяли съестное. И, как в сказке, кота растерзали. Вы не заметили дохлого кота в углу?

— Ай да Петрухин! Молодец! — Людвинская с уважением посмотрела на парня. — Теперь тебя буду брать на все облавы. Купец Пузанков — мелкий человек! Хочешь, я тебе историю расскажу?

Они брели по ночным улицам Москвы. Неторопливо трусила лошаденка, скрипела подвода под тяжестью мешков. Волков сидел на подводе и понукал лошаденку. Людвинская и Петрухин боялись в темноте потерять подводу. Фонари не светили. Лишь звезды скупо заливали голубым светом заснувшие улицы.

— Конечно, Татьяна Федоровна! — повеселел Петрухин. — Тут в темноте да в молчании взвоешь.

— Как-то до революции я сидела в «Крестах», так в Петербурге тюрьму называли. — Людвинская перекинула винтовку через плечо и улыбнулась в темноту: вот и появились люди, которые не знают, что такое «Кресты». — Вывели меня воскресным днем на свидание в большую приемную. По одну сторону мы, арестованные, к которым пустили родственников и тех, кто сумел доказать, что он таковым является, а по другую...

— Интересно, человек должен доказать свое родство?! — Петрухин шагал неторопливо, во всем разбирался обстоятельно.

— Ты молодой, в царских тюрьмах не сиживал, а порядок был строгий — на свидание только родственников! Конечно, документы в участках не всегда проверяли. Родственники? Какие родственники в чужом городе!

Гм... — Людвинская покачала головой: — Вот и придумывали в подполье, кем называться: невестой, женихом, двоюродной сестрой... Иной раз выведут в свиданную, а ты стоишь как засватанная, ждешь, и тут какая-то девица кидается на шею, коли решетки нет. И вот вывели меня в «Крестах». Посетителей много, я стою и жду. Рядом Кузьминична, напарница по камере, вздорная старуха. Арестовали ее за драку на базаре, то ли она городского ударила, то ли ее кто избил. Бабка бойкая. В камере всем уши прожужжала глупостями, с головы от волнения слетел платок, а косички, тонкие, как мышинные хвостики, она завязала бантиком. Навестить ее явилась тоже старуха, неприятная, с ввалившимся ртом. Я невольно заинтересовалась их разговором. Кузьминична боялась за курицу, оставленную без присмотра, и давала наставления. Голос у нее грудной, трубный: «День корми пеструшку шелухой, а день — хлебными корочками». Старуха с ввалившимся ртом, видно, придерживалась другого мнения. Она поджимала губы и осуждающе покачивала головой. Кузьминична настаивала и клялась за такую услугу век ее не забыть. Я плохо помню беседу с товарищем, пришедшим ко мне на свидание, потому что рядом редела о курице распроклятая бабка. — Людвинская смеялась, хотя минул добрый десяток лет. — Окончательно убила меня не Кузьминична, а ее подружка. Она, словно сорока, выплевывала новости о соседях, новости гадкие: у той деньги украли, у той сарай сгорел, та подралась...

— Вот и встретились старые хрычовки! — добродушествовал Петрухин, придерживая мешок на подводе. — Это в тюрьме-то...

— В тот день я долго не спала, думала: почему люди попусту жизнь растрачивают? Свидание в тюрьме превратили в заботушку о курице, а общение — в поток грязных сплетен.

Ветер пробирал до костей. Людвинская поглубже засунула руки в карманы кожаной куртки. На ногах сапо-

ги, правда, худые. Плохо, ноги мокрые, как бы легкие опять не застудила.

Ветер гнал тучи. Звезды угасли. Лишь на востоке светился тонкий серп луны.

«Хорошо, что разыскивали хлеб. Вот скоро доберусь до Марьиной рощи, там у «буржуйки» и ноги можно обогреть, и кипятка напиться, паек хлеба раздобыть и соснуть часок, — раздумывала Людвинская, с трудом вытаскивая ноги из липкой грязи. — Уснуть надо обязательно, а то на ходу упаду. Облавы почти каждую ночь...»

Спать... Спать... Спать... Мысли стали путаться, из темноты проступала Швейцария с голубыми озерами, усатый томоженник кричал над ухом, схватил за рукав и начал трясти.

— Татьяна Федоровна! — В голосе Петрухина жесткость. — С чердака стреляют... Да проснитесь вы наконец!

Действительно, с чердака бил пулемет. Сверкающая трасса рассекала тьму, и пули шлепались по булыжнику. Испуганно шарахнулась лошадь, громко чертыхнувшись Волков. И лишь дома застыли в безмолвии.

Людвинская почувствовала, как она промерзла. Ее охватил озноб, до костей, до спазм, до боли в сердце. Она стяхнула оцепенение и, пробуждаясь от дремоты, хрипло приказала:

— Оружие к бою! Волков, подводы не оставлять!

Быстрым движением сняла винтовку, бросилась в подворотню глухого и немого дома.

...И опять по ночной Москве идет Людвинская. Потуже затянула пояс на кожанке и наклонила голову, спасаясь от холодного ветра. Петрухин, подняв воротник пальто, поеживался. Видно, и его пробирал холод.

На востоке занималась заря. Алой полосой залила полнеба, поглотив угрюмую черноту уходящей ночи. Начинался новый день.



ОЛЪТА
ТЕНКИНА



ЧЕМОДАН В СЕРОМ ЧЕХЛЕ

*Поезд
Иваново-Вознесенск
— Москва.
Ноябрь, 1905 год*

Темнота упала сразу. Робкие голубые сумерки погасли. Исчезли ломаные тени деревьев, смутные очертания пригорода Москвы с нагромождениями домов, голубятнями, кривыми заборами, церковными колокольнями и пожарными вышками. И только на переезде, где стоял стрелочник, высоко поднимая фонарь, все приобрело привычные черты. Девушка увидела морду лошади в висячей бахrome инея, торбу с овсом и мужика в нагольном тулупе, застрявших у преградившего путь шлагбаума. Сноп фонарных лучей выхватывал из темноты мальчонку, очевидно впервые узревшего громаду поезда и восторженно махавшего руками невидимым пассажирам.

Генкина прижалась лицом к стеклу, жадно впитывая красоту зимнего вечера, раскрывавшуюся из окна вагона. Холодное стекло освежало разгоряченное лицо. Темнота за окном становилась гуще. Вагонное стекло что зеркало: смотри, любуйся! Керосиновая лампа вздрагивала, то уменьшая, то увеличивая пламя, подчиняясь могу-

чему движению паровоза. Она увидела в стекле свои расширенные глаза. Не с привычной скрытой улыбкой, а встревоженные, испуганные. И это в поездке, связанной с таким риском! Тоже мне конспиратор! Глаза были ее сущим мучением, поистине зеркалом души — в них и радость, и боль, и испуг, и гнев...

Публика в вагоне набралась разная.

Недовольная собой девушка переплела косу, что всегда служило признаком волнения. Темно-русые волосы с золотистым отливом. Коса тяжело скользила в руках.

Вагон жил обычной жизнью, которая наступает в первые часы пути. Устав от суеты и преддорожных волнений, пассажиры не спеша раскладывали вещи. Проявляя преувеличенную вежливость к соседям, они засовывали бесчисленные сундучки и баулы под лавки, громоздили корзины с провизией на верхние полки. На стыках рельсов поезд раскачивался, и пассажиры с веселым недоумением посматривали друг на друга, боясь, чтобы вещи не обрушились на головы.

Наконец и баулы были уложены, и полушубки сброшены, и шали размотаны. На соседней лавке дородные купчихи. В шелковых платках. Неторопливо оправили бахрому на круглых плечах и приготовились чаевничать.

Напротив скамьи, занятой Ольгой Генкиной, пристроился немолодой мужчина с холеной бородкой и скорбными глазами. Еще на Ярославском вокзале он обратил внимание на девушку. Помог ей с сестрой разыскать номер вагона, подозвал носильщика. Чемодан в сером чехле, который везла Генкина, ему показался тяжелым. В вагоне проследил за носильщиком с озорными глазами и ухмылочкой на безусом лице. Ему явно хотелось поговорить с Ольгой, да времена настали беспокойные, и она вопреки обычной приветливости боялась всякого случайного знакомства.

Каким-то шестым чувством понимала, что опасность не в этом скупающем барине, а в том, в другом, кто пристроился на боковых местах. Крупный. С животиком.

Немолодой. Вел себя суетливо, боясь загородить проход. Ехал без спальных принадлежностей, без которых редко кто из пассажиров пускался в такой путь. Лишь маленький докторский саквояж. Гм... Это в дорогу-то! Отличительной его особенностью был красный шарф, замотанный на шее. Оглядывал каждого долгим и злым взглядом. На вопросы соседок из мешчанок не отвечал, старался заговорить с купчихами. Румяными. Толстощеками. Те, что сели в вагон закутанные в три шали. Купчихи поглощали пирожки, запивая чаем, да стыдливо прикрывали лица локотками. Еще бы! Купчихам разговаривать с незнакомым мужчиной не полагалось. Человек бросал рассеянные взгляды на Генкину. Только рассеянность наигранная. В глубине глаз проглядывал острый и неподдельный интерес. Да и взгляд-то изучающий, профессиональный. Ольге, пережившей в короткое время пять арестов, сделалось тревожно. «Филер, филер... Интересно, кому столь высокая честь оказана, — размышляла она, испытывая неприятное покалывание в сердце. — Неужто мне... Вот было бы некстати. — И, усмехнувшись, решила: — В любой другой раз, но только не теперь, когда на руках такая оказия...»

Она стояла все еще у окна и, словно в зеркале, наблюдала жизнь вагона и своих случайных попутчиков. Купчихи благополучно заканчивали второй пакет с пирожками. Круглые щеки лоснились от масла. Руки в перевязочках, будто у младенцев, поблескивали перстнями. Мешчанки кокетничали с прыщавым прапорщиком, тот подкручивал усики и похохатывал баском. Старухи богомолки не без зависти посмотрели на дородных купчих и, перекрестившись, принялись за скудную трапезу. Богомолки трое. Держались стайкой, напоминая испуганных черных птиц. Шептали молитвы, переговаривались тихонько, боясь быть услышанными. Сосед Ольги с барской бородкой спал, прикрыв лицо газетой «Биржевые ведомости». Вытянул ноги и не слышал чертыхания мастеровых, налетавших на них в проходе. Гувернантка вез-

ла барчука в бархатном костюмчике. (Простонародного общества она явно стеснялась и все жаловалась на обстоятельства, помешавшие приобрести билет в вагон первого класса.) Барчук капризничал, тер кулаками глаза и просил пить. Гувернантка строго что-то выговаривала по-французски, поправляя белый бант. Мальчик хотел спать и не слушал французские премудрости, которые мадам пыталась вбить в его голову. С радостью и быстротой умудрился показать язык богомолкам, засовывал палец в нос и тянул на одной ноте: «Не хо-чу... Не хо-чу... Не хо-чу...» Мастеровые (кондуктора посадили их в вагон второго класса за рублевку) торчали в проходе, стеснялись благородного общества. Потом скрутили самокрутки и почувствовали себя увереннее.

В вагоне каждый пассажир благодушествовал. И только господин в красном шарфе на шее следил за Генкиной. Он не смотрел на Ольгу. Вот именно — не смотрел. Оглядывал каждого, прислушивался к словам, вступал в разговор с богомолками и только ее, Ольгу, не замечал. И это обстоятельство убеждало, что в вагоне он ради нее одной. И сел без вещей, и еды не прихватил. И с кондуктором, когда тот протискивался по вагону, объяснялся знаками. Подносил палец к губам и что-то торопливо говорил.

Ольга достала из дорожной сумки маленькую подушечку. В горошек. Темный плед в клетку. Подушку прислонила к чемодану, поставленному у изголовья. Сверху бросила полотенце, расшитое нянькой. Нянька выходила всех детей в доме Генкиных, была своим человеком и баловала ее больше других. Нянька плохо переносила разлуки с Ольгой, а в этот раз откровенно плакала. По дряблым щекам катились слезы. В глазах беспомощность. Как она плакала! Здесь, в вагоне, Ольга с досадой передернула плечами, а там, в Москве, на Поварской, слезы казались нестерпимыми. Михаил Семнович, отец, невольный свидетель этой сцены, не выдержал и увел няню, придерживая за худенькие плечи. Нянюшка... Нянюшка... Вот

все утрясется, уляжется, и Ольга заберет ее, старую, к себе. От радостного предчувствия порозовели щеки. Уладит дела в Иваново-Вознесенске и уедет с Емельяном Ярославским в Крым. Все образуется, они поженятся, и дети пойдут, вот нянюшка и будет их выхаживать. И опять горделивая волна радости и счастья захлестнула ее сердце. Когда и как все устроится, Ольга не знала, но должно же уладиться! Мысль о счастье, как и о добре, была всегда естественна для Ольги. Верила, что поступательное движение в обществе подчинено понятиям добра, счастья и света. В этом суть законов общественного развития! Конечно, она не идеалистка и понимала, что без изменения социальных условий, без жестокой борьбы общественные формации не изменялись, но важен конечный результат! А в благоприятном исходе, как и в наступлении общества справедливости и радости, не сомневалась. Иначе откуда брать силы для борьбы?

Славно все устраивается и сегодня: чемодан прикрыла пледом, случайный попутчик, которого готова была обвинить во всех грехах, заснул. Опустил голову на грудь и похрапывал. Голову болтало из стороны в сторону, словно неживую.

И Ольга успокоилась. Даже патруль городских, прошедший по вагону, не вызвал волнений. Посмотрела на них и прижалась к окну.

— Не спится, барышня? — полюбезничал городской, тот, тощий, кто шел первым и обнажил прокуренные зубы.

— Знамо дело — молодость! — хмыкнул его напарник и, улыбаясь, вопросительно посмотрел на девушку. — Мечтаем при луне о милом дружке!

Городовой добродушно улыбнулся в усы и устался на мастеровых, пристроившихся на самодельных сундучках в проходе.

— Кто такие? — окрылся городской, и лицо его стало неузнаваемым. Злое, жесткое. Голос грозный. Движения отрывистые. — Кто такие?

— Да зайцы, ваше благородие... Обыкновенные зайцы... Говорят, опоздали на поезд и билетов купить не успели. А дело-то срочное. В деревне у них, окаянных, сродственник помер, вот и торопятся, боясь на похороны опоздать. Знамо дело опоздают, и покойника-то опустят в землю... — Кондуктор ловким движением засовывал ассигнацию в карман городского и заискивающе улыбался.

— Каждый раз у тебя, брат, зайцы и случаи один страшнее другого... — ворчливо отвечал тощий городской, не без удовольствия похрустывая зелененькой ассигнацией в кармане. — Смотри, как бы жадность до беды не довела... В историю можно влипнуть, и тогда ассигнациями не откупиться... Как бы по Владимирке кандалами не загремел...

— Прости, господи, нас, грешных. — Кондуктор мелко закрестился, и щеки его, подпертые тугим форменным воротничком, затряслись. — Всех горемык жалеючи... Вот и послабления разные делаю... Сердцем-то мягок человек...

— Далал бы ты, старый черт, послабления, коли не сдирал бы с них рублевки? Ась?! — И городской, подтолкнув кондуктора локтем, подмигнул: — Хотел бы я на это посмотреть...

И кондуктор и городовой захохотали. Кондуктор забежал вперед и почтительно открыл дверь на площадку вагона. В вагон ворвался морозный воздух, и Ольгу Генкину обдало холодом. «Действительно, милостивец сыскался!» — возмутилась в душе она.

Через минуту кондуктор вернулся. На лице не осталось и тени улыбки. Сплюнул в сердцах да подкрутил фитиль в керосиновом фонаре. Осторожно снял нагар с фитиля и рассеянно оглядел стоявшую у окна девушку. Огорчение было таким сильным, что, не сдержав себя, подошел к Ольге.

— Душегубцы... Пфу... Напасть-то какая! Собачьим чутьем учуют, коли несчастный трояк решил заработать... Про все забудут, антихристы... Сразу в вагон и да-

вай вылавливать безбилетных... — Кондуктор с сознанием правоты посмотрел на пассажирку. — Заработок на железной дороге небольшой, а ртов на шее — пять. И каждому дай! Вся надежда на зайцев, как бы лишнюю трешку привезти. — Кондуктор зло толкнул спящего мастерового: — Рублишку заплатят, а дрыхнут, как господа.

Вагон потряхивало. Колеса выстукивали счастливую песню. Повис на горизонте красный серп месяца. Мела поземка, припудривая острыми колючками деревья и полустанки, стрелочников в романовских полушубках и фонари, журавлями вытянувшиеся вдоль железной дороги. Поезд разрезал темноту, стальной громадой покачивал землю и поднимал снежную пыль над железнодорожным полотном.

В поездках Ольга любила ночные часы безмолвия, когда словно сливаешься со стальным телом паровоза и несешься, подчиняясь безумному ритму, в крошечную тьму, полную неожиданностей и маленьких, непременно веселых происшествий (веселому человеку и происшествия выпадают веселые). И ты вся подобрана, как для прыжка. Силы в душе необъятные. Грудь распирает от счастья. Как хорошо жить, когда есть цель, когда есть любовь.

И из темноты выплыло лицо Емельяна Ярославского. С огромными глазами. С высоким лбом. С крупными кольцами волос. Могучая фигура с широкими плечами. В неизменной черной косоворотке, перехваченной узким пояском. С милой манерой щурить глаза, характерной для близоруких людей. И белозубой улыбкой.

Они вместе работали в Петербурге в городском комитете, там и пришла любовь. Настоящая. Единственная на всю жизнь.

И припомнились ей дни, предшествующие воскресенью девятого января, окрещенном в народе «кровавым». Петербург жил рождественскими заботами. На улицах балаганы с разноцветными флажками. Цирковые арлекины в колпаках с помпонами зазывали народ на представления

в балаганы; тут и медведи, танцевавшие на задних лапах и державшие блюдо с деньгами, и предсказатели судьбы с попугаем в клетке, выдергивающим за пятак счастливый билет, и собаки-математики в ярких жилетах, и волки, которых держала за ремешок Красная Шапочка с посиневшими на морозе губами. Афиша возвещала о приезде в город известного клоуна Владимира Дурова, с гордостью сказавшего о себе: «Я король шутов, но не шут королей». Клоун с огромным жабо сидел на свинье, подняв руку. По пестрому одеянию, усыпанному звездами, ползли мыши. Болтался на ветру свиток бумаги, укрепленный на огненном колесе. И здесь русской вязью перечислялись все чудеса, которые каждый увидит на представлении за пятак.

По прямым улицам и проспектам города проносились тройки, оставляя в морозном воздухе серебристые переливы валдайских колокольцев. На тройках в лихо заломленных бобровых шапках катались купцы с опереточными красотками. Истошно кричали извозчики. Город шумел, буйствовал, светился иллюминацией и потешными огнями.

И опять память раскрыла страницу былого... Пожалуй, это был первый Новый год, который Ольга ждала с боязнью и тревогой. Рабочий Питер готовил петицию, под которой священник Гапон собирал подписи. Рабочие, в массе своей неграмотные, ставили кресты. Ольга с ног сбилась — все время на митингах, там принимали петицию. Пункт за пунктом. Петиция предназначалась царю. К Зимнему дворцу народ поведет сам Гапон. О Гапоне слова плохого не скажи — рабочие верили в него. Жалостливые слова петиции находили путь к сердцу рабочего человека. Гапон поднимал руки к небу и сочным красивым голосом объяснял народу, что коли правду донести до царя, помазанника божьего, то сразу все изменится.

Большевики пытались довести до сознания народа лживость его слов. Емельян Ярославский пожелтел за эти дни. Выступал в рабочих клубах, предостерегал от

кровавой расправы, перечислял номера воинских частей, стянутых в столицу, — все впустую. Рабочие требовали, чтобы из клубов, где происходили обсуждения петиции, вывели бы вон смутьянов да антихристов! (Каково работал пошук?!) Большевики для рабочего человека превратились в смутьянов да антихристов! Религиозный угар овладел народом. Вернопатриотический прилив чувств достиг невиданных размеров. Гапона торжественно под руки водили мальчишки-служки. Рабочие падали на колени, снимали шапки, пели гимны и молитвы, а большевиков, которые пытались отрезвить народ, выкидывали на мороз. И Емельян Ярославский вылетел в сугроб с собрания и беззлобно отругивался, вытряхивая снег из рукава пальто да разыскивая шапку в сугробе.

Петербургский комитет РСДРП принял решение идти вместе с питерскими рабочими к Зимнему дворцу, не бросать народ в такое трудное время. Генкиной поручили шить красные знамена. Поручению она обрадовалась. Ее арестовали за несколько часов до шествия. Какое бешеное лицо было у пристава! И такая злоба, что в одной комнате с ним было находиться-то страшно!

Ольга, смешливая по натуре, и здесь, в вагоне, рассмеялась. Славно, когда служители закона приходят в такое бешенство от большевиков!

Самого шествия она не видела. В тюрьму пришло удручающее известие о расстреле народа у Зимнего. Как волновалась она, отрезанная от реальных событий тюремной стеной! И только когда получила от него первую открыточку, перекрещенную тюремной администрацией йодом во избежание тайнописи, плакала и смеялась от радости. Жив... Жив ее милый друг!..

И здесь, в вагоне, радость заполнила сердце. Емельян... Емельян... Сколько добра и любви у нее к этому большому и застенчивому человеку! И матушке он как родной сын... И отец Михаил Семенович не раз прятал его в доме, спасая от каторги! Все радовались: скоро Емельян станет членом семьи. Человек неразговорчивый,

из тех, о ком говорят только дела. Жизнь вел полную опасности и риска. И ни единым словом, ни жестом не давал понять, что ему трудно, что часто приходится недоедать и недосыпать, что жизнь его, профессионального революционера, полна опасности, что постоянно попадает он в положение человека, лишенного жизненных удобств. И сознание, что в скором времени они будут вместе, что она принесет ему и тепло и ласку, что после многих лет вынужденных скитаний у него появится дом, семья, что она будет с ним разделять опасности, наполняло сердце счастьем. Конечно, легкой жизни она не искала, в глубине сознания уподобляя себя и Емельяна двум притокам, которые, слившись, станут могучим и полноводным потоком большой реки. И, стоя в вагоне и глядя в крошечную тьму, пронесившуюся за окном, предалась ощущению покоя и счастья. И опять девушка почувствовала чей-то взгляд. Оглянувшись, увидела все того же неприятного человека, севшего в Москве без вещей. Почему-то он оказался около ее лавки и пытался притронуться к чемодану, прикрытому пледом.

— Что случилось, сударь? — Ольга резким движением очутилась около своего места, растолкав попутчика с бородкой на соседней лавке. — Помогите... Помогите...

Тот встрепенулся и, поднявшись, вопросительно поглядел на девушку. Быстро разобрался во всем и зашумел:

— Боже правый... Да что вы тут, негодяй, делаете? — Пассажир с бородкой сильным движением схватил непрошеного гостя. — Ну? Отвечайте же, черт возьми!

Человек затыкнул потуже красный шарф и потерял уверенность. Левый глаз его нервно подергивался, на губах жалкая улыбочка. Заговорил быстро, виновато:

— Вот такая беда приключилась. — Потом нагнулся к соседу, прошептал что-то и громко закончил: — Просто попал спросонья не на свое место... А барышня подняла крик: «Помогите... Помогите...»

Человек в красном шарфе натянуто рассмеялся.

Улыбнулся и сосед Ольги. Только Ольга не пыталась скрыть огорчения: «Выдумки... Выдумки... Байки да при сказки глупые...» И все же примирительно кивнула головой — не хотела проявлять излишней настороженности. Благо и объяснение нашлось! И пропустила человека на свое место.

И опять несясь вперед поезд, разрезая темноту. Ольга не разрешала себе прилечь, сон у нее богатырский и наверняка не укараулит бесценный чемодан в сером парусиновом чехле.

Месяц разгорался все ярче. Окрестные равнины и лесные чащи озарялись серебристо-голубым светом. На линии горизонта разливалось искристое сияние.

Картина леса, закутанного снегом, великолепна. У Ольги перехватило дыхание. Огромные ели в снежных шапках. Лохматые лапы их искрились миллионами снежинок. Березы с голубыми стволами ветвями расчертили темное небо. На опушке леса вырос огромный лось. Пригнул голову, словно готовясь напасть на сверкающий огнями и колесами паровоз. Промыгнул русак и скрылся в чаще. Поднимая высоко голову, выл волк, вглядываясь в серп месяца. Звука голоса матерого она, конечно, услышать не могла, но воображение явственно дорисовало промелькнувшую картину.

Наконец на линии горизонта, ранее едва различимой, появилась светящаяся розовая полоса. Узкая и трепетная. И сразу ожили острые вершины елей, подпиравшие небо, лохматые, словно дым, облака. Месяц все бледнел и бледнел, а розоватая полоса, торжествуя, поднималась выше и выше, теснила облака и просвечивала леса. Темнота словно съедалась розовой полосой. Наступил новый день, и природа величаво встречала восход солнца.

Поезд начал делать частые остановки. На станциях, освещенных фонарями, залепленных снегом, толкался народ. В валенках. В полушубках. В клетчатых шалях. Бабы с детьми, завернутыми в ватные одеяльца, и с мешками за плечами суетливо расспрашивали кондукторов.

Отдельной группкой стояли крестьяне с деревянными сундучками и пилами, завернутыми в мешковину. Мужики степенно курили и поджидали старшего, бородатого юркого старичка в стоптанных сапогах. Тот рядился с кондуктором у общего вагона. Наконец они ударили по рукам, и мужичок, стараясь перекричать гудок паровоза, подозвал артельщиков. Мужики, толкаясь, подхватили сундучки и на ходу запрыгивали в вагон. Ольга поморщилась. Российская привычка — ехать без билетов, кондуктор наверняка содрал втридорога. И все равно мужики его считают благодетелем, а старшего ловкачом, который отбил, поди, копеек по двадцать пять на брата. И копейки становились в измученном нуждой воображении большими деньгами, которые они употребят на свои неотложные дела.

Ольга с осуждением покачивала головой, опасаясь, что в суматохе кто-нибудь из мужиков сорвется и произойдет несчастный случай.

Наконец крики и галдеж за окном прекратились. Поезд, грозно вздохнув, загромыхал колесами.

Новый день... И опять за окном бескрайние просторы. Ноябрь выдался снежным и морозным. Замелькали леса. Могучие. С устремленными ввысь стволами деревьев и густыми крупными кронами. На опушках — ели. Пушистые и необъятные, в белых и зеленых шалах. На равнинах громоздились сугробы, искрящиеся колдовским светом. Поднималось солнце. Багровое. Захватившее полнеба. Тянулись золотистые сосны, тоненькие осинки с несколькими листками на вершинах, березы с корой, розовой от солнечных лучей. Гибкие ветви сплетались в причудливые узоры и свисали почти до земли. Могучие дубы вырастали на опушках. Все это разноцветье сливалось в пеструю гамму, радующую глаз. Неожиданно повалил снег. В мареве выделялись крупные, как лебяжье перо, снежинки, которые, медленно кружа и пританцовывая, падали, описывая одним им понятные круги и выполняя сложные менуэты. Толстыми веревками болтались телеграфные

провода. Верхние струны были обнажены с подветренной стороны, зато нижние густо и надежно укутаны снегом.

«Неисповедимы пути господни», — учили в гимназии на уроках закона божьего. Ольга улыбнулась краем губ. Но по-настоящему неисповедимы пути профессионального революционера. Сколько лет она в революции? Почти пять — после поступления в медицинский институт в Петербурге. И разве знает, где окажется завтра? Куда ее пошлют? Да где будет труднее, туда ее и пошлют. Работала в Петербурге... Аресты... Аресты... Направили в Нижний Новгород... Прекрасный город на Волге. Сколько друзей там оставила? Жаль... Очень жаль... И так подумав: разве навсегда оставила — в трудных дорогах подполья бывают такие нежданные и негаданные повороты и встречи. К тому же она счастливая. Сколько прекрасных и светлых людей, людей святой идеи, довелось ей узнать! И каждый внес свою лепту в дело, которое зовется социализмом. Революция — плод и коллективный опыт многих и многих тысяч людей, плод труда и борьбы нескольких поколений. Потому так и прекрасен ее облик, в нем все лучшее, прогрессивное от усилий множества людей.

Более полугода она проработала в Нижнем. Дел невпроворот, людей не хватало. Сормовский завод, куда ее направили, напоминал целый город. И кружки вела, и типографии ставила, оружие для рабочих дружин добывала. Да и город полюбила. У нее была счастливая особенность приживаться на новом месте. Нянюшка говорила, что эта черта проистекает от доброжелательности. Действительно, ей удивительно было тепло и интересно с новыми людьми. Только с новыми? Почему? Нет, она оставалась верным и преданным другом.

В Петербурге познакомилась с революционером из Иваново-Вознесенска — Михаилом Фрунзе, широкой души человеком. Он не коренной ивановец. Его исключили из политехнического института за революционные выступления и выслали в Иваново. Его фамилия в переводе с молдавского значила «листок». Как листок, бросала его

революционная буря по России. Власти «умны»... Нашли куда выслать революционера. В такой промышленный город, как Иваново. В Иванове Фрунзе удивительные дела творил, организатор оказался блестящий. Партийная кличка Арсений. Кстати, с Арсением Ольге посчастливилось вместе работать в Петербурге, там и дружба их окрепла. И в Кровавое воскресенье должны были идти в одной колонне к Зимнему дворцу. Но дороги подполья их развели: Ольгу арестовали, потом ей удалось скрыться в Нижнем Новгороде, Фрунзе работал в Иваново. Правда, связи их не прерывались и редкие весточки доходили к ней. В Нижний приехал товарищ Багаев из Иваново и передал записку Арсения к Генкиной. Ольга с большим удовольствием ее развернула. Увидала знакомый почерк и обрадовалась. Арсений, чьи боевые качества ценила, звал ее в Иваново на работу... И не просто звал, а, ссылаясь на многие трудности, о которых и писать небезопасно, просил приехать на помощь организации, понесшей такие тяжелые уронь.

На квартире у друзей она встретилась с Багаевым и принялась расспрашивать о жизни в Иваново. О кровавых событиях в Иваново даже газеты не могли умолчать. Погромы... Убийства... Бесчинства черносотенцев... На улицах патриотические манифестации белой сотни, состоявшей из лавочников и громил... С ними и православное духовенство... И городовые, которые гонялись за рабочими активистами... В Иваново введены казаки, стянуты войска, и шла форменная осада рабочих районов. Партийная организация обескровлена... Кто в тюрьмах... Кто погиб... Кто принужден скрываться... Зверски убили и руководителя партийной организации Афанасьева по кличке Отец. Средь бела дня на улицах черносотенцы хватают прохожих и требуют, чтобы те показали крест да прочитали на коленях молитвы, коли отказывались, то начинался самосуд и дикая расправа. Город переполнен солдатами да казаками, но остановить хулиганов и громил некому! Хорошие порядочки-с...

Михаил Фрунзе — человек искушенный в политике, и если он, зная, что и в Нижнем дела несладкие, просил переехать на работу в Иваново, то, значит, там было безнадежно плохо. И могла ли Ольга не внять его голосу? Багаев также присоединялся к просьбе Фрунзе, хотя и утверждал, что ехать в Иваново женщине опасно. И в сомнении качал крупной головой.

...«Опасно»... «Опасно»... Стучали колеса: «Конечно, опасно...» — «Конечно, опасно», — отвечала им Ольга, ощущая приятный ритм движения. Коли волков бояться, так и в лес не ходить! Кто-то должен взять на себя опасность. И почему не она? Опыт работы в подполье большой. К тому же у нее колоссальное преимущество перед другими партийцами — для ивановской полиции человек новый. Пока полиция к ней приглядится да хорошенько узнает, каких дел-то сумеет натворить! Багаев предложил поехать вместе в Иваново. Так и безопаснее было бы, и город он знает, и в организацию помог бы войти. И Ольга согласилась бы с его словами, если бы не желание повидать маму. Бывали моменты, когда Ольга не могла удержать себя. Переживала, корила себя, но если бы пришлось решать вновь, то поступила бы точно так же. В душе жило огромное чувство к маме. Прасковья Андреевна осанку имела царственную и редкостную красоту. По убеждениям была демократка. Привила и детям высокое чувство долга, ответственность перед народом, уважение к труду. Ольга любила маму самозабвенно. С детских лет говорила ей все, не лукавила и в трудную минуту, прижавшись к груди, получала мудрый совет. Жизнь разбросала их по разным городам. Встречи происходили урывками. В дни редких свиданий в Москве мама беспокоилась, откровенно боялась ее ареста, и, как ни парадоксально, ждала скорейшего отъезда. Ольга часто ловила испуганный взгляд мамы. Видела, как она прислушивалась к звонку, к незнакомым шагам на лестнице. Мама знала все, имела огромный жизненный опыт. При всех тяжелых ситуациях Ольга ставила на свое

место маму и думала, как бы она поступила. И странное дело, находила выход, казалось, из самых невозможных положений. Она могла жить, месяцами не видя маму, довольствоваться редкими письмами, переданными с оказией, и вдруг приходил день, когда истекал запас душевных сил. Встреча становилась физической необходимостью. Да, Прасковья Андреевна уподоблялась Гее, Ольга — Антею. Так оживала греческая легенда! Она, как и античный герой, прижималась к груди мамы и вбирала запас жизненных сил, добра и мужества. Казалось, нет испытаний, которые бы она не выдержала, кроме одного — насилия над мамой. Да, не выдержала, коли жандармы стали бы глумиться над ней. Писала редко. Письма были скупыми, чтобы скрыть духовную связь, пуповину, которой она приросла к маме. Так случилось и в Нижнем, когда приняла решение уехать в Иваново. Она почувствовала потребность поговорить и посидеть с Прасковьей Андреевной у камина. Положить голову на грудь и, ощущая прикосновение прекрасных пальцев, рассказать о том, что мучило и смущало. Сколько накопилось невысказанных волнений, радостных дел, страданий, из которых состоит жизнь! И о них мама ничего не знает! Это противоестественно! И Ольга все бросала, срывалась с места и приезжала домой. Позвонив в квартиру, она вваливалась в прихожую, отдавала горничной пальто и, не снимая шляпы, летела по длинному коридору через столовую и, широко распахнув дверь в спальню, бросалась в ее объятия. Вальсировала с ней, обнимала и напевала. Мама всплескивала руками и пыталась остановить ее. И тоже хохотала. На шум сбегалась вся квартира. Прыгала Знойка, сеттер, высунув влажный язык и пытаясь лизнуть гостью в лицо. И она оказывалась на руках у Ольги и принимала участие в торжественном танце «посвящение в индейца». Знойка начинала жарко дышать, повизгивала и старалась укусить девушку. Потом Ольгу тащили к столу, и мама заглядывала ей в глаза, запихивала немыслимое количество пирожков и бутербро-

дов в оголодавшую дочь. Знойка возлежала на подушкѣ и, обессилев от волнения, поводила карими с поволокой глазами да слабо помахивала хвостом. Сестра Надежда задавала вопросы, не отрывая от ее лица восторженного взгляда. Ольгу, у которой от усталости смежались глаза, отправляли спать. Насильно и любовно, как в детстве. Мама доводила ее до комнаты, целовала. Ольга засыпала, не успев натянуть одеяло. Спала долго. Умиротворенная, забыв и тревоги и неудачи. Потом пила в кровати молоко. И мама не сводила влюбленных глаз с дочери. И начинались рассказы. Надежду, которая караулила ее сон, в этом случае отсылали из комнаты. Ольга осмысливала пережитое и рассказывала, рассказывала. И все пережитое, одобренное или отвергнутое Прасковьей Андреевной, приобретало особенный смысл. Нередко Ольга удивлялась, как событие, казавшееся значительным, под влиянием насмешливого взгляда бледнело и теряло смысл, как облачко при ветреной погоде, и наоборот — случай, не затронувший ее сердце, но поддержанный мамой, становился памятным. И таким важным. Прасковья Андреевна, помимо недюжинного ума, имела великий дар слушательницы. Да, она умела слушать. Мягкая манера поведения и отсутствие назойливости располагали к откровенности. Никогда не задавала вопросов, не проявляла любопытства. Ольга вольна была рассказать лишь то, что считала нужным. Чувством свободы дочь дорожила. И странное дело, свобода и заставляла ее быть предельно откровенной, если дело не касалось чужой тайны или законов конспирации. Она торопилась с рассказами, зная, что опять наступят длинные недели и месяцы, когда не сможет услышать ни милого голоса, ни прочитать одобрения в материнских глазах. В дни свиданий, словно путник, вырвавшийся из пустыни и умиравший от жажды, она припадала к прохладному ключу.

И опять ее мысли вернулись к Нижнему. Багаев звал ее в Иваново — согласие на поездку привез от Московского комитета партии. Но она не могла уехать в Ивано-

во, не повидав маму. Тоска стала такой сокрушающей, что победить ее не хватало ни сил, ни желания. В Москву... В Москву... К мамочке под крылышко... К Надюшке, такой родной... К толстой Знойке... И, представив смешную морду собаки, она еще сильнее хотела на Поварскую. И она покатила в Москву. В Москве все, все было, как обычно, кроме прощания. Расставались тяжело, так тяжело, как никогда ранее. Даже Знойка не прыгала, вздыхала могучей грудью и скулила. Ольга говорила о скорой свадебной поездке с Емельяном Ярославским в Крым, и мама, вытирая слезы, неуверенно отвечала: «Скорей бы».

О своей поездке в Иваново старалась не говорить. Против обыкновения от нее не отходил и отец Михаил Семенович. Он даже от занятий со студентами отказался. Вышел из кабинета, угловой комнаты, где принимал больных (практика была большая), и сидел в столовой, вслушиваясь в ее слова. Благообразный, с бледным лицом. С большим лбом и живыми умными глазами. Узнав, что Ольга уезжала в Иваново, загрустил. Заговорил осторожно, для убедительности разложил на столе с плюшевой скатертью последние газеты. В газетах об Иванове писалось много. Действительно, там черная сотня распоясалась — погромы, убийства, кровь. Да и полиция хватала правого и виноватого.

— Там тебя в котле, в котором ситцы красят, черно-сотенцы сварят... Схватят да сварят... — неловко пошутил он, стараясь скрыть смущение.

— Действительно, Оля! Чего только не пишут в газетах о событиях в Иваново! — Надежда, слушательница курсов Герье, попыталась поддержать отца. — Опасно, ох как опасно туда ехать!

— Но кто-то должен... К тому же я еду по решению Московского комитета, впрочем, мое желание не расходится с мнением товарищей. Так почему туда поеду не я? — Глаза Ольги с болью остановились на отце.

— Конечно, конечно... — как-то поспешно согласился он и, неожиданно поднявшись, вышел.

Мать молчала. Только переглянулась с Надеждой. Действительно, почему не она, Ольга, должна туда ехать? Опасно! Но и другому человеку опасности не избежать.

И Ольга решила, что в следующий раз побольше погостит дома. Нужно и о маме подумать — сдавать стала. И глаза потускнели, и плечи ссутулились, и в голосе щемлящая душу усталость. И отец сильно постарел. Волнения за дочь, скрывавшуюся в подполье, никого не украшали.

Ольга пыталась прикинуть — сколько потребуется времени, чтобы наладить дела в Иванове? Но ничего не могла ответить — ни города, ни положения дел в организации не знала.

И опять стучали колеса, громыхали буферные тарелки... Все будет хорошо... Все будет хорошо... Девушка протерла глаза и обрадовалась — попутчика в красном шарфе, в котором подозревала шпика, нет на месте. Наконец-то ушел! Значит, действительно все будет хорошо. И привычная радость бытия охватила ее. Она любила жизнь, радовалась всему доброму. Разумеется, как можно огорчаться в такой прекрасный зимний день! Снежные равнины в лучах солнца, деревья в радужном сиянии.

Пассажиры проснулись. И с завидным постоянством опорожняли корзины со съестным. Ели с удовольствием. Крутые яйца. Холодных цыплят. Пирожки. И в невероятных размерах. Ольга удивилась страсти русского человека к обильному дорожному чревоугодию. Купчихи вкушали пирожки. Сухой как жердь попик перочинным ножом отрезал такие куски свиного окорока! Строгал окорок и глотал, глотал. Барчук пил молоко из литровой бутылки, которую держала гувернантка. И с какой сноровкой! Диво дивное... Богомолки брали куски пахучего хлеба и истребляли с завидной быстротой. Когда-то в детстве нянюшка подарила Ольге деревянную игрушку — три черные курицы сидели на кружке. Но коли дернуть веревочку, то куры принимались клевать, опуская и подни-

мая головы. Быстро-быстро. Богомолки напомнили Ольге игрушку своего детства. Сосед Ольги, господин с бартвенной бородкой, под ее удивленным взором уничтожал крутые яйца. Ловким движением ударял тупым концом яйца по столу, вылушивал из скорлупы и заглатывал, как голодная чайка. Кулек таял на глазах. Нырнул в мешок и вытащил цыпленка с хрустящей корочкой, смакивающего на индюка. Быстрым и точным движением срезал мясо, отделял кости.

Наконец все было съедено, все, что возможно, выпито, и пассажиры под стук колес начали вести задушевные разговоры. Нигде и ни при каких обстоятельствах человек не относится с таким доверием к человеку, как в вагоне. Сознание, что через несколько часов сосед уйдет и ты никогда не увидишь его больше, рождало чувство симпатии и доверительности. Слаб человек — и радость и горе хочет выплеснуть ближнему. И нигде это лучше не сделать, как в дороге.

Ольга прикорнула, положив голову на чемодан в сером чехле. Наконец-то можно расслабиться и поспать часик. Неизвестно, что ожидало ее в Иванове.

Вагон тряхнуло, и она открыла глаза. Сосед с бородкой сошел на какой-то остановке. И на его месте сидели женщины. Одна, немолодая, увядшая, держала стопку перевязанных книг и напоминала учительницу сельской школы. Она и в действительности ею оказалась. Другая, привлекательная, со вздернутым носиком, как поняла Ольга из разговора, была гувернанткой у фабриканта. У ног ее потрепанный саквояж и также перевязанные книги. Женщины вежливо кивнули проснувшейся Ольге и продолжали разговор.

— Что в эти дни творилось в Иванове — трудно передать. Собрания рабочих на Талке запретили. И градоначальник перешел в наступление. Хулиганы из черносотенцев совершали один «патриотический подвиг» за другим, по словам газет, «во славу царя и отечества». Нацепят белые банты на грудь, заливают глаза водкой из

щедрот купцов и коршунами носятся по улицам... Детей избивают, как и стариков, если те не падали на колени при виде хоругвей. Лица зверские, водкой разит за несколько саженьей... — Девушка-гувернантка скорбно поджала губы. — Я не революционерка, но их действия носят откровенно хулиганский характер. А в руках царские портреты, святые иконы! Как это объяснить разумом? Видела, как на Троицкой улице погромщики вытащили рабочего, отца пятерых детей, и начали избивать его. Обезумевшая от горя жена на коленях умоляла пожалеть кормильца. Страшная сцена: дети, посиневшими пальцами творящие крестное знамение, простоволосая женщина, разорвавшая на груди рубаху, чтобы бандиты увидели крест, и мужчина с залитой кровью головой. Как эти малютки сохраняют веру в бога?..

— Мари, какие страшные мысли приходят в голову... — Учительница прижала к груди стопку книг, словно пыталась заслониться от беды. — Только одно — терпение и терпение... Царь-батюшка...

— Ксюша, у бандитов иконы в руках, на устах имя божье! И псалмы поют духовные о смирении! И головы проламывают старикам! Терпение в данном случае неподходящее слово. Здесь зло, канонизированное именем бога. Полиция охраняет погромщиков — значит, все это санкционировано свыше.

— Свыше... Да кем же?..

— Царем-батюшкой...

— Опомнись, Мари... Чудовищные слова! — Учительница поглядела на Генкину. — Так и до беды недалеко, дорогая... Царь-батюшка от бога.

— «Царь-батюшка»... Ты говоришь так, словно не было девятого января сего года... Народ шел к царю с хоругвями и крестами, с молитвами и надеждами, и что ж? Разве царь не знал, народ идет с миром? Идет за помощью, доведенный до крайности нуждой и беспорядком? А что получили? Пули и горы трупов... И опять гибнут так называемые смутьяны, — голос девушки перехватило

от скрытого сарказма, — старики, женщины, детишки... Нет, нет, после Кровавого воскресенья нельзя с прежними мерками и святыми голубыми мечтами взирать на царя-батюшку...

— Так и социалисткой можно сделаться! — не без ужаса сказала учительница. В голосе смятение. — Почему ты не захотела переждать эти ужасные дни в имении фабриканта? Отсиделась бы... При твоей бедности терять такое хорошее место?

— Не могла смотреть на горе народное! Не могла! Каждый интеллигентный человек обязан возмутиться. Нужно что-то делать! Что?!

— Успокойся, Мари! Какое время наступило! — Женщина покрутила головой. — Велики наши грехи перед господом!

— На том стояла, но не будет стоять земля русская, Ксюша! Как это ты не можешь понять! Живешь в глуши среди народа и ничегошеньки не разумеешь. — В голосе гувернантки боль, лицо покрылось красными пятнами. — Не будет больше смирения и оправдания произволу...

Ольга аккуратно развернула свою снедь и отшатнулась. Снедь на пределе человеческих возможностей — нянюшка собирала месяца на два. Жевала и слушала, как подруги вели долгий и тяжелый спор, спор, который могла разрешить только жизнь. И конечно, выиграет его Мари, ибо правда на ее стороне. Канули в Лету времена, когда, уподобившись аисту и спрятав голову под крыло, можно было делать вид, будто укрылся от опасностей. Нет, все перевернулось в этом мире. Каждый должен решить, с кем он, каждый обязан выбрать свою жизненную позицию и отстаивать ее. Историческая правда перестала быть отвлеченностью, сделалась реальностью, воздухом, без которого нечем дышать.

— Образование в Иванове, как и в большинстве промышленных городов, держится на трех китах лубочного чтения. — Мари повысила голос и, растопырив ладонь, стала зажимать пальцы. — «Бова-королевич и прекрас-

ная царевна Милитриса», «Атаман Ванька — черный ус», «Графиня-нищая»... Разве не правда, Ксюша? О литературных достоинствах книг говорить нечего. Но и здесь все изменилось. Нет больше тех патриархальных времен, когда на зорьке пастух играет на рожке, а подпасок собирает стадо. Так было в недалеком прошлом в благословенном Иванове. Все развлечения в кулачных боях — каждое воскресенье мужики надевают парадные плисовые штаны, франты — красные рубахи, головы мажут конопляным маслом и идут к реке Уводь. Зрители рассаживаются по оврагам и, затаив дыхание, смотрят, как слобода идет на слободу, стенка на стенку. Дерутся яростно, наносят увечье, забивают до смерти... Лавочник кидает три рубля на водку, просит молодцев постараться... И те стараются, ломают друг другу кости. Дикость... Невежество... И с каким восторгом рассказывают о старике Гарелине. Богач. Фабрикант. Это не тот краевед и покровитель искусств, а другой — из его дальних родственников. А как умел погулять! Пил до чертиков и из трактиров возвращался со свитой. Впереди — оркестр, который в зависимости от степени опьянения хозяина исполнял то похоронный марш, то попури из оперетт. Далее — сам кормилец города купец первой гильдии Гарелин в чем мать родила. И, наконец, полицмейстер. Полицмейстер шествовал на почтительном расстоянии — сиротинушка, как прозвали Гарелина, имел дикий нрав. Ругался чудовищными словами, кидался бутылками в полицмейстера. Обижался на полицмейстера, почтительно просившего прикрыть стыдобушку. Полицмейстер на носочках, крадучись, говорил сладким голосом: «Пора, пора, дорогой, прекратить увеселеньице...» Каково словечко «увеселеньице»! — В голосе Мари слышались рыдания. Она с трудом владела собой. — Самодурство и падение нравов. А то жарким днем купцы запрягали, именно запрягали, лодку лошадьми или нищими, и те тащили ее по пыли. В лодке купцы, цыганский хор, гремела музыка, и текли винные реки. Хорошо-с! И опять «увеселеньи-

це»? И когда городская дума обращалась к властям с вопросом об уменьшении количества кабаков, которые вытягивали из рабочего человека последние копейки, та отказала! Как уменьшить прибыли отцов города?! Пускай лучше семьи бедняков погибают!

— Ваша правда, барышня, — неожиданно вступил в разговор один из мастеровых. — Купцы балуют, а народ ивановский пребывает в бедности. Посмотрите на красковаров. Удивительные умельцы... Самородки!.. А как живут? Лица изъедены краской. Волосы редкие, целый день крутятся у котлов с мокрой тряпкой на рту от ядовитых испарений, дышать нечем. Часом теряют сознание, и горемык волоком тащат на улицу отдышаться. В мастерские, где стоят чаны с красками, зайти невозможно. У рабочих на спинах мокрые, зловонные тюки — в Уводи отполаскивают ситцы. Руки обезображены кислотой... Простите, я уроженец здешних мест и за людей чувствительно обижаюсь. Народ прекрасный, честный. И больно мне, как и вам, милая барышня, за людей, которые гибнут от невежества и нищеты...

Ольга завернула крутые яйца и дышленка, оставшегося от завтрака, в бумагу и, не скрывая симпатии, смотрела на мастерового. Девушка придвинулась к краю скамьи, желая получше разглядеть его, устроившегося на соседней лавке. Тот увязывал котомку и, поглядывая в окна, называл станции. Да, скоро Иваново-Вознесенск.

Ольга насторожилась. Бунтарские слова мастерового, тяжелые рассуждения ее соседок о бесчинствах, творимых в Иванове, откровенные революционные призывы девушки-гувернантки — все укладывалось в вереницу событий, говоривших о чувстве неудовольствия и протеста, которыми была охвачена общественная жизнь русского государства. Россия накануне взрыва. И это явственно ощущалось различными социальными кассами. Революция властно вступала в свои права...

...Стучали колеса поезда. Мысли о неизбежности революционных преобразований захватили Ольгу Генкину.

КРОВЬ НА ПЕСКЕ

Иваново-Вознесенск. 1905 год

Необходимость борьбы привела Генкину в Иваново, выхватив из гущи политических событий Нижнего Новгорода, города крупного, промышленного.

Там политические страсти также были накалены до предела.

Рабочие дружины разбились на пятерки и десятки, боевики учились стрелять из маузеров и револьверов всех систем, проходили тактику уличных и баррикадных боев, в цехах ковали оружие. Да, восстание, революция становились на повестку дня.

Социальные противоречия в стране достигли таких пределов, что разрешить их было возможно только революционным путем.

Здесь, в поезде, случайные люди, далекие от партийных страстей, оказывались захваченными радикальным настроением, великим брожением и недовольством. Революция грозила обрушиться на царизм девятым валом.

Поезд прибавлял ход.

В ее руку вложили прокламацию. Написана печатными крупными буквами, что исключало опознание почерка при следствии.

Сделала это Мари. К губам приставила палец, приказала молчать. Ольга привычно огляделась по сторонам: в ее положении не хотелось без нужды попадать в историю. И, не в силах удержаться, быстро прочитала прокламацию.

*«Приказ генерал-губернатора С.-Петербурга
Трепова от 14 октября 1905 г.*

ИЗВЕЩЕНИЕ

Население столицы встревожено слухами о предстоящих якобы массовых беспорядках.

Меры по охранению личности и имущества в столице

приняты: поэтому прошу население указанным слухам не верить.

Если бы, однако, где-либо возникли попытки к устройству беспорядков, то таковые будут прекращены в самом начале и, следовательно, серьезного развития не получают. Войскам и полиции мною дано приказание всякую подобную попытку подавлять немедленно и самым решительным образом, при оказании к тому со стороны толпы сопротивления — холостых залпов не давать и патронов не жалеть...»

Ольга подняла глаза, и лицо вспыхнуло от гнева. Так называемое извещение генерал-губернатора Трепова она знала, только не знала, что это извещение используется в качестве документа, активизирующего революционное настроение общества. Приказ Трепова «холостых залпов не давать и патронов не жалеть» в прокламации густо подчеркнут и обведен красным карандашом.

Каков негодяй! «Патронов не жалеть»! И такие слова после трагедии Кровавого воскресенья!

«Считаю долгом предупредить об этом население столицы, дабы каждый обыватель, примкнувши к толпе, производящей беспорядок, знал, чем он рискует, благо-разумное же население столицы, во избежание тяжелых последствий, я приглашаю к собраниям, направленным к нарушению порядка, не примыкать.

14 октября 1905 г.

*Подписал: Свиты Его Величества
генерал-майор Трепов».*

Ольга повернула прокламацию и увидела на другой стороне аккуратную колонку стихов, написанных печатными буквами:

Как у нас на троне
Чучело в короне.
Ай да царь, ай да царь,
Сумасшедший государь.

А царица Саша
Глупая — не наша.
Их дядья и братья —
Всем людям проклятье.

Долго ль нам терпети
Царский кнут да плети?
Чучело в короне
Нужно свергнуть с трона,

С бою взять свободу
Русскому народу.

Лицо Генкиной светилось от удовольствия. История царской семьи, дворцовые хитросплетения были рассказаны с предельной ясностью. Все разложено по своим полочкам, и анонимному автору невозможно отказать ни в знании, ни в верном и образном анализе современных событий.

Возвращенную ей прокламацию Мари спокойно положила в сумочку. «И бровью не повела!» — восхитилась Ольга. словно тем и занималась, что знакомила с нелегальными изданиями приятных ей людей. Молодец! Благодарно кивнула головой и, разглядывая за окном проносившиеся равнины, вслушивалась в неторопливые слова мастеровых.

— Талку не зря в Иванове народным университетом прозвали. — Мастеровой пригладил рукой вьющийся чуб. — Семьдесят два дня продолжалась стачка... И семьдесят два дня были университеты на Талке. Приходили на берега реки поголовно все: рабочие с женами и детьми, чистая публика, крестьяне из окрестных деревень. Все нарядные. В праздничных платьях. Такое не забывается: солнце высоко стоит, и со склона видно все как на ладони. Узкая речушка пересохла от жары. Народ со-

брался на дне оврага. По склонам в лесах находилась рабочая милиция Уткина. Их сразу узнавали... В черных косоворотках с белыми пуговками у ворота. На тропках толклись городовые. Некоторые прятались в кустах. Наблюдали, старались запомнить каждого. Не теряли надежды при случае свести счеты. Народ держался смело — городских словно не видели, и слово дерзкое у каждого на языке. Поодаль в засаде казаки. Лошадей отвели в лесок и затаились. Глаз не отводят от народа. А народа труба непротолченная. Казаков злили и подводы с распряженными лошадьми. Крестьяне семьями приезжали на несколько дней узнать — нет ли закона о земле. Молва-то о нем широко разлилась. Приезжали обстоятельно — лошадей стреножили, собак и тех привозили. Держались селами. Эх, была не была... Всех не перебрешешь! Там, где казаки, там и рабочие. И не с пустыми руками, а с кольями да булыжниками. У тех, кому положено, стаканчики, начиненные чем надо...

У мастерового такое торжественное выражение, что у Ольги теплеет на душе. «Как народ мечтает о рабочей дружине, вооруженной, способной прикрыть и защитить от солдат и казаков».

— Значит, чем надо? — усмехаясь в пушистые усы, переспрашивает его сосед.

— Конечно, дядя Егорий... Чем надо... Людей столько — яблоку некуда упасть. В иные дни набиралось в овраге по семьдесят тысяч! Семьдесят тысяч! И стар и мал хотели правду узнать, которую долго прятали от рабочего человека. На Талку приходили и интеллигенты из города. Дамы с зонтиками любопытствуют, ходят в толпе да придерживают оборки на платьях. Иные с народом разговаривают, да как! Тут и из газет разные писаки. Всем хотелось посмотреть как рабочие учатся управлять городом. — Мастеровой закончил с вызовом, готовый отстаивать свои слова.

Ольга с радостным волнением слушала мастерового. Какие речи! Зрелые. Смелые. Сколько уверенности! Ра-

бочий класс пробуждается к политической борьбе, и слова «рабочая власть» полны глубокого смысла.

Неожиданно ей на колени положили стопку открыток. И опять без слов и объяснений, лишь в глазах Мари многозначительность. «Удивительная женщина! — восхищалась Ольга. — Все-то у нее есть. Создана для конспиративной работы. И такая располагающая, и манера разговора простая».

Не изменив выражения лица, Ольга спокойно перебирала стопку. На плотной бумаге отпечатаны открытки типографским способом. Сатирические. О черносотенцах, ставших настоящим бедствием в Иванове. И подписи прелюбопытные. Язвительные. На первой: «Самый распатриот I сорта». Да и рисунок неплох. Черным контуром изображен лавочник, по внешнему виду недалеко ушедший от гориллы. Огромный живот. Сапоги бутылками. Борода лопатой. В белом фартуке. Стоит нагло, глядит с вызовом. Готовый драться и хулиганить.

Ольга осторожно отложила открытку и ахнула. Вторая. И опять контуром изображен лавочник. С лицом крысы. Оскалены кривые зубы. Выражение хищное. На голове картуз с рваным козырьком. В каждой руке по большому ножу. Рубаха навыпуск, подпоясанная витым шнурком. Наглый тип. Громила... Громила, зажав ножи, бежал на коротеньких ножках.

Девушка живо представила себе, как эти громилы бесчинствовали над беззащитными стариками и детишками. Значит, действительно в Иванове творились чудовищные вещи.

На последней открытке надпись: «Посвящается в рыцари». Священник в черном одеянии благословляет коленопреклоненного черносотенца. На этот раз вместо лавочника босяк. Откровенный спившийся босяк. В разодранной рубахе. В грязных штанах. С тупым и злобным выражением. С огромной дулей вместо носа. Звероподобный. Стоял на коленях и равнодушным взглядом смотрел на священника с крестом. Священник, благо-

словляя его на ратные подвиги, патетически поднял руки и призывал громить рабочих — врагов царя и отечества.

Хороша картина общественной жизни России! Ольга Генкина поджала губы. Рабочий стал врагом номер один. Пьяный лавочник да босяк, лишенный человеческого облика, — союзники царизма. Подобную картину наблюдала она и в Нижнем. Знамена, под которыми вышагивали с гнусавым пением черносотенцы, дорого стояли. Из шелка и бархата. Густая золотая бахрома и золотые кисти тяжело переливались на ветру. Трехцветное — белое, голубое и красное. Расшитое монашескими-золотошвейками. Купцы трясли мошной. И слова то какие: «За царя самодержавного»... «За веру православную»... «За русский народ»... Самодержавие и церковь заключили прочный союз, и союз этот основан на крови.

— И среди тех, кто собирался на Талке, образовались три круга. В центре каждого — трибуна для оратора. Больше всех любили Афанасьева, Отца. Внешность замечательная. В обхождении мягкий. Старался разъяснить рабочему человеку особенность положения. В тюрьмах сидел не один раз. Знал, почем фунт лиха. Депутат Совета... — возвысил голос мастеровой, будто и не прерывал рассказа о днях на Талке. — О чем говорили? Да о нужном... И о том, как вырвать свободу у царя, и о восьмичасовом рабочем дне, и о повышении заработной платы, и о равенстве женщин... Убили его в октябре... Заманили вроде на переговоры... Перешел мостик и принял смерть. Конечно, Отец знал о ловушке, да хотел дать возможность рабочим скрыться от полиции. Его растерзали лавочники и купеческие сынки из белой сотни.

— Белая сотня? — переспросила Мари, с жадностью слушающая мастерового... — Странное какое сочетание слов.

— Чего там странного... Лавочники да купеческие

недоросли, пьяницы да воры нацепляли на рукава белые повязки, хватали хоругви да иконы и орали спившимися глотками псалмы да гимн — это и есть белая сотня. С ними и священники и монахи. Святые отцы проповедуют учение Христа о терпении к ближнему, о всепрощении. А у белой сотни в руках — колья, топоры и ножи. — Мастеровой, помолчав, покосился на Ольгу Генкину. — Я не социалист... Прошел хороший университет на Талке. Семьдесят два дня каждому, кто хотел знать правду, глаза открыли.

Ольга вновь обратила внимание, как зачарованно слушала Мари мастерового. Подалась вперед, в глазах — восторг. Несколько раз посматривала на соседку-учительницу. И всем своим видом утверждала: «Вот не верила мне, отговаривала от действий, а человек слово в слово повторяет мои мысли. Так-то, дорогая! Жизнь есть жизнь, и никакими силами ее нельзя удержать. Народ поднялся на царя! И счастлив тот, кто живет одними думами с народом, слышит его дыхание, счастлив тот, кто не сторонится от жизни, не ждет, пока за него все сделают другие. Да и стыдно тебе, голубушка, быть глухой и слепой, как тетеря, к горяшку народному. Мастеровой человек и тот все видит и понимает!»

И Ксюша под пронизательным взором подруги отложила пачку книг, понимая, что ей не заслониться от жизни, не спастись от беды, распростершей черные крылья над Россией. Слова «царь», «бог», «святой отец» стерлись и стали разменной монетой.

— Почему были на Талке три трибуны? Одной разве мало? — басил старшой и, затягиваясь самокруткой, отгонял дым от соседки. — Три трибуны?! Подумать только...

— Чудак человек. Да чтобы побольше людей правду узнали. Один оратор говорил о рабочей власти, которая не за горами. Другой выступал от продовольственной комиссии. Народ-то голодал. Совет заставил лавочников в дни стачки продукты выдавать в кредит! Как тут без

отчетов о положении с харчами. Хозяева лишь водку совали рабочему человеку, совали в долг — лишь бы сбыть. Тонкий расчет — получку получает, а получать-то нечего. А Совет о хлебе думал! На третьей трибуне — финансовая комиссия. Денег у Совета было мало, но народ должен знать, куда они расходуются.

Удивительные дела творились на Талке! И что за молодцы эти ивановцы! И форму управления городом избрали — Совет... Первый в России общегородской Совет рабочих депутатов. Ольга в Нижнем читала газеты и поражалась их делам. Сразу захотелось поехать в Иваново и все посмотреть, поработать засучив рукава, а когда о погромах узнала, то почувствовала себя обязанной. Характер ее имел одну особенность — при всех трудных обстоятельствах должна находиться в первых рядах. И всегда — с нее спрос. Совесть и долг перед народом, столь характерные для русской интеллигенции, не давали ей спокойно жить. Правда, у одних чувство долга ограничивалось горькой болью, у других вызывало потребность действовать. Вот и она — человек действия. И, как кулачный боец, кидалась в гущу битвы и ни разу еще не дрогнула. И если бы слышала крик тонувшего ребенка, то бросилась бы в реку спасать его, а не бегать по мосту в отчаянии, призывая на помощь. Первой, именно первой! Так понимала свой долг. И оправдывала каждого, кто за идею взмолился на эшафот, каждого, кто знал «упоение в бою».

— После царского манифеста интеллигенты с флагами вышли на улицу. Как же — свобода! Свобода, дарованная царем-батюшкой. За ними и рабочие с красным знаменем... — Мастеровой с упоением рассказывал в вагоне о таких недавних днях на Талке. — Пристав взбесился. И до городской управы манифестантам не дал пройти. Кинулся коршуном, начал знамя вырывать да в землю ногами втаптывать. Шея от натуги покраснела: «По-про-шу, господа, не оскорблять красными тряпками народного торжества! — И, взвизгнув, закры-

чал: — Кто разрешил собираться! Нет, кто разрешил?!» Благонамеренный господин, которого пристав схватил за грудки, онемел. А как же свобода?! «Свобода действительная и неприкосновенная» и все прочее и прочее, а за красный флаг — в шею да в кутузку.

Ох, этот мастеровой, не так-то он прост, хотя на вид рубаха-парень. Видно, и вправду прошел хорошую школу. Кто он? Куда держит путь? Беседа в вагоне, будничная и случайная, многим открыла глаза. Да, просыпается российский обыватель... И правильно сказала Мари: «Былой веры к царю нет». Веру в царя, как и веру в бога, у народа убили, расстреляли в день Кровавого воскресенья! И, словно подтверждая ее мысли, заговорил старшой, обращаясь к мастеровому:

— И потому, браток, тебе не сидится в Иванове? Ась? По белу свету задумал побродить...

— Жить в Иванове невмочь. Фабрики закрыты, работы нет, полиция хватает каждого, кто кажется подозрительным. Сидеть в тюрьме — дело нехитрое. У меня семья, дети малые. Вот и подался от родных мест с артельщиками плотничать. В Иванове черная сотня победила. Пока побываю на сторонushке, а потом что бог пошлет, — говорил мастеровой медленно, с расстановкой, обдумывая каждое слово.

Значит, в Иванове настолько опасно, что этот без сомнения политически грамотный человек не рискует там оставаться. Нет, его не напугала черная сотня, он не из пугливых, но целесообразнее считает переждать. Как все сложно в жизни... И смерть Афанасьева, Отца, о которой вскользь говорил мастеровой, мученическая. В Московском комитете партии долго ее вспоминали. Собственно говоря, смерть Отца была последней каплей, определившей необходимость ее поездки в Иваново. Об Афанасьеве Ольга слышала многое в свою бытность в Петербурге.

Погиб он трагически.

Хмурым дождливым октябрьским днем рабочие во

главе с Афанасьевым решили освободить политических заключенных из тюрем. Процессия двинулась через Приказный мост к тюрьме и освободила их. Хлынул ливень. Головная часть подошла к Соковскому мосту, чтобы в Ямах, где располагалась другая тюрьма, также освободить политических. На мосту власти выставили заслон из астраханских казаков и черносотенцев. Афанасьев понимал, что рабочим с ними не справиться. Опасаясь кровопролития, он предложил рабочим отойти на берег Талки. На Шереметьевской улице на процессию напали черносотенцы и казаки. Рабочие сбились возле сторожки. Казаки, пьяные, на сытых лошадях, решили в упор их расстрелять. Нужно было время, которое бы позволило добежать демонстрантам до леса. И Отец пошел на хитрость. Приказав увести рабочих в укрытие, он, стараясь выиграть минуты, двинулся навстречу черносотенцам на «переговоры». Перешел мостик Талки... Черносотенцы с криком накинулись на него... Кровь проступила на желтом песке...

Ольга знала подробности убийства Афанасьева и, каждый раз, вспоминая их, испытывала ужас. Становилось трудно дышать, словно ощущала запах водочного перегара, видела искаженные злобой лица и слышала крик убийц.

Самосуд был не только противозаконным, но и действием, оскорбляющим человеческое достоинство. Как-то в Нижнем она едва не стала жертвой такого самосуда. По городу бушевали погромы. Она возвращалась с конспиративной квартиры и вдруг нарвалась на черносотенцев. Пьяные лица. Площадная брань вперемежку со святыми молитвами. Страшное зрелище. Размахивали кольями, грозили ножами. Глаза шальные. Все темное, что разумный человек подавлял в себе веками, вспыхнуло с дикой силой в этих звероподобных существах, которых и людьми-то не назовешь! И Ольга, бесстрашная по натуре, укрылась за калиткой первого попавшегося дома. Толпа с криком и гиканьем пробежала мимо.

Прижавшись к калитке, она испытала страшную слабость. Нет, все, что угодно... Эшафот... Каторга... Но только не смерть от безумной и жаждущей крови толпы. Самосуд пугал бессмысленной жестокостью и звериным оскалом животного инстинкта. И поэтому так тяжело ей было представить смерть Афанасьева... Самосуд... Самосуд... Знал ли Афанасьев, что ожидало его там, за мостком? Надеялся ли на иной исход? Верил ли в так называемые переговоры, на которые вызывали его казаки? Нет, конечно, нет. И почему пошел на мученическую смерть?! Он знал, знал об уготовленном ему конце. Но кто-то должен был пожертвовать собой, чтобы спасти от смерти рабочих. Для таких людей, как Афанасьев, в случае опасности есть единственный человек, который принимал весь удар, — это он сам. Афанасьев, не преуменьшая опасности, шел на эту опасность сознательно. В этом и состоит нравственный подвиг. Преодолеть себя, подчиниться чувству долга. Трудно, очень трудно — и смерть такая мученическая. Она неоднократно видела Отца в Петербурге и испытала огромное впечатление от его личности. Особенно выделялись глаза. Проницательные и незащитные в своей доброте. И партийная кличка особенная — Отец. Доброта и была главным качеством в его отношениях с людьми. И эта кровь на песке... Где найти слова, чтобы передать его чувства в последнюю минуту? Как трагически оборвалась жизнь! И каковы порядки в стране, если подобная смерть происходит при попустительстве царевых слуг — казаков и городских? Хороши представители власти! Порядочки-с... Порядочки-с...

Поезд замедлял ход. «Иваново-Вознесенск» белело на здании вокзала. Станция встретила привычной суматохой. Старухи, закутанные, громыхали железными чайниками. Куда-то тащили детишек, завернутых в бабьи платки и в тулупах на вырост. Голосили бабы,

испытывая извечный страх перед чугушкой, от которой обязательно нужно ждать беды — то ли останешься на чужой станции, то ли обчистят лихие люди похлестче, чем в лесу на большой дороге (пятаки были старательно завернуты в холщовые тряпки и спрятаны на груди). Что можно украсть у этих женщин, им и самим неведомо, но страх быть ограбленными владел с паническим ужасом. И поэтому вокзал всегда оглушал женскими голосами, руганью мужиков, уставших от бабьей глупости, и плачем детей.

И в вагоне наступила суета. Несъеденные припасы рассовывались по узлам. Снимались сверху корзины. Закручивали головы платками и шарфами.

Ольга, захваченная общей суматохой, предшествующей приближению крупной станции, натянула пальто, отороченное мехом, и закуталась в платок, высвободив толстую косу. Инстинктивно посмотрела по сторонам и ахнула. Напротив нее сидел все тот же неприятный человек, отправившийся из Москвы без вещей. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Значит, где-то прятался, а теперь появился на божий свет. Принесла его нелегкая! Господин старательно натягивал башлык и поглядывал в окно. Ольга также глянула в окно и увидела городового. С животиком. В шинели, опоясанной портупеей. С длинной пашкой, бившей по ногам. Плохо дело, плохо... Поезд пробежал пристанционные пристройки из толстых бревен, почерневших от времени. Тяжело вздохнув и окутав станцию паром, паровоз остановился. Грузно проскрипев колесами по рельсам, состав замер. И сразу загалдели, зашумели в вагоне. Нетерпение охватило пассажиров. Толпясь и давя друг друга, люди бросились к дверям, загораживая проход горой чемоданов, сундучков, баулов, мешков. Все кричали, волновались. Заняла свое место в проходе и Ольга, с трудом приподнимая чемодан в сером парусиновом чехле. Шаг за шагом продвигалась вперед. В вагон налетели носильщики. В белых фартуках. С начищенными бляхами.

Как пробились через эту кутерьму, совершенно непонятно! Носильщик, окинув пассажиров опытным взглядом, остановился рядом с Ольгой Генкиной.

— Разрешите, барышня, поднесу чемоданчик! — Лицо приветливое, с улыбочкой. Улыбочка немудрящая, из тех, что приклеена к лицам приказчиков да носильщиков. И, не дожидаясь согласия, подхватил чемодан с ходу. Свистнул и без приветливости сказал: — Видать, барышня золото перевозит... В слитках...

Ольга вспомнила слова кладовщика на московском вокзале. Какая накладка в конспирации! Но носильщику улыбнулась. Каждой приятно золото возить в чемодане, да еще в слитках. И пошла за носильщиком, стараясь в толкотне не потерять его из виду. Чудом удержалась на железной лесенке вагона, носильщик, протянув руку, помог барышне сойти. Ноги провалились в снег. Она ударилась о городского, торчавшего под окнами вагона. Тот наклонил голову в папаше с гербом. Поискала глазами неприятного попутчика. Повеселела, не найдя его в толпе, валившей в здание вокзала.

Каменную грудь вокзала украшал фронтон. На фронтоне крупными буквами, покрытыми изморозью, пестрело «Иваново-Вознесенск» и чуть подальше год постройки — «1894». По обе стороны от фронтона расходились крылья здания с огромными окнами, украшенными резными наличниками. Деревянные крылья заканчивались сквериками, усаженными молодыми тополями, на ветвях которых бахромы снега. Вдоль крыши вокзала двойной ряд наличников с искусной резьбой, на разных уровнях торчали будки, также украшенные резьбой. Крыша была крутая, снег плохо удерживался. местами проступала краска. И действительно, с грохотом упала глыба льда, увлекая за собой слежавшийся снег. Стайка воробьев испуганно поднялась в небо навстречу пробивающимся лучам солнца. У наружных дверей вокзала торчали фонари. Резные. Чугунные, как в Москве на Ярославском вокзале. От дверей три окна

в частых переплетах и решетках. Здесь и тумба, украшенная афишами и разными объявлениями.

На перроне толкались люди с неприветливыми лицами. На брезентовых и кожаных поясах — железные крючья. Ольга удивленно вскинула брови. На соседнем пути товарный состав, прибывший с хлопком, который разгружали грузчики, так называемые крючники. Хватали крюками необъятную кипу хлопка, перехваченную веревкой, взваливали на плечи. Из-за копны хлопка человека почти не видно.

— Берегись... Берегись...

Приседая, крючники пробегали по станции не к двойным дверям, а к проходу, ведущему непосредственно на привокзальную площадь. Вереница крючников разрезала пассажиров. Ольга заглянула в образовавшийся коридор и увидела подводы, их-то с такой поспешностью и загружали крючники.

Рядом остановился и носильщик. Ольге показалось, что он переморгнул с городовым. Нет, ошиблась и в душе обругала себя за мнительность. Мнительность — плохой советчик в опасности.

— Куда, барышня, чемоданчик поднести? К извозчику? — Носильщик согнулся под тяжестью и с неудовольствием переспросил: — Далече в городе-то путь держите?

И этот вопрос насторожил Ольгу. Пожалуй, лучше чемодан сдать в камеру хранения. Город для нее новый. И хотя Багаев по плану объяснял ей, как найти явку, но блуждать с такой ношей не резон. И чемодан приметный. В сером парусиновом чехле. Тяжесть-то какая! На извозчике до явки добраться неконспиративно, тащиться по улицам и спрашивать дорогу того хуже: можно привлечь внимание городских.

О положении в городе Иванове она знала не меньше, чем случайные попутчики. Порадовалась лишь, с какой заинтересованностью стали относиться широкие слои населения к политическому положению в стране. Вырос-

ла их активность, пропала вековая забитость. Да, народ пробуждается... Ольга продолжала лихорадочно соображать. Пожалуй, лучше сдать чемодан на хранение. Разговоры носильщика о том, что чемодан отличается излишней тяжестью, сильно ее обеспокоили. Зря, зря она согласилась на носильщика. И опять припомнила, как в Москве, в камере хранения, удивлялись тяжести чемодана. В конспирации нет мелочей — это урок на будущее.

Этот чемодан она укладывала вместе с сестрой Надеждой. Они очень дружили, Ольга и Надежда. Надежде исполнилось семнадцать лет. Худошавая. Энергичная. И лицо волевое — с темными глазами и волосами, расчесанными на прямой пробор. Надежда была немногословной, но каждое слово — золото. Она уже давно не имела от нее секретов: сестра и записки носила по нужным адресам, и в кружках, которые вела среди рабочих, бывала, и помогала уйти от слежки. Смелая и отважная Надежда.

Чемодан они готовили тщательно. Ольга завертывала каждый смит-вессон в газету, которую ей подавала Надежда. Патронов четыреста штук, и быстрые пальцы сестры ловко перекладывали коробки бумагой. По ее совету Ольга весь груз заложила сверху бельем, она и наволочку в зеленый горошек принесла из своей комнаты.

Работали споро, почти не разговаривали. И такая тревога и боль была в глазах сестры, что и здесь, в вагоне, Ольга к ней испытывала благодарность.

Надежда застегнула пуговицы на сером чехле и помогла донести чемодан до прихожей. Мать крепко прижала Ольгу к груди. И ни слова упрека, ни слезинки — это было ужасно. Надежда протянула Ольге оренбургский платок, сняла с вешалки пальто.

Ольга поцеловала мать.

У подъезда стоял извозчик. Он помог барышням

поставить чемодан в пролетку и застегнул полог. Валил снежок и приятно освежал лицо. На Ярославском вокзале подскочил носильщик, но Надежда, опасаясь за чемодан, сама потащила его в камеру хранения. До отхода поезда оставалось три часа, казавшиеся ей вечностью. И Ольга была очень благодарна сестре, которая находилась здесь, рядышком. Толстый и благодушный кладовщик подхватил чемодан и крякнул от тяжести: «Уж не золото ли там?» И лицо расплылось в улыбке. «Конечно, золото», — беспечно ответили сестры. Надя взяла квитанцию и уложила в свой ридикюль.

Ольга огорчилась — нет, это серьезная накладка в конспирации... Чемодан привлекает внимание... А что делать? В Иванове-то дружинники без оружия, остановить зверства черной сотни не могут — это стоит многим жизни.

Надежда вела по вокзалу ее под руку и что-то щебетала, стараясь казаться беспечной. «Правильно, очень правильно», — одобряла ее в душе Ольга. И Ольга крепко прижимала локтем ее руку... Сестра... Надюша... Молодчина-то какая...

Надежда предложила не болтаться эти три часа на вокзале и не привлекать внимания шпииков, а побродить по городу. И тут Ольга до боли испытала потребность вновь повидать мать и отца. Так и стояли перед глазами мать, затихшая у косяка двери, и отец, положивший руку на ее плечо. Нет, нет... Нужно им помочь, ободрить, нужно еще раз увидеть их и сказать, что скоро, очень скоро она вернется домой. Конечно, опасности и невзгоды, которые выпали на ее долю, старили родителей, способствовали раннему возмужанию Надежды. И какое счастье, что и родители, и сестра ее единомышленники! Семья — ее крепость!

Но против ожидания эти часы, проведенные в родительском доме, успокоения никому не принесли. Опасность была слишком явной, и скрыть ее не удалось. И снова при прощании она поцеловала маму, снова

ощутила крепкое рукопожатие отца, и снова тряслись на извозчике с Надеждой.

Надежда ее усадила в вагон, поднесла чемодан в сером чехле, показала глазами на человека, укутанного шарфом, и крепко, как отец, пожала руку на прощание. Милая, милая моя Надюша... Ни слова укора, в глазах уважение и восторг. Молодец, девочка! Молодец!

— К извозчику прикажете, барышня? — сипло переспросил носильщик и остановился в нерешительности, поставив чемодан у ног, выводя ее из задумчивости.

Мимо валила толпа. Крестьяне окрестных сел, гонимые нуждой, приезжали в город на заработки. Малые детишки да бабы, уставшие от голода и неурожая. И снова крючники, сгибаясь под тюками хлопка, пробегали по коридору, образованному толпой. Крючники спускались по ступенькам с платформы и исчезали. Обратно возвращались вразвалку, молчаливые, вытирали ладонью потные лица, размазывая пыль и грязь. Лишь крючья позванивали, укрепленные у пояса.

Ольга посторонилась. Мимо прошел крючник. Лицо неприятное. Брови, сросшиеся у переносья. Взгляд угрюмый. Насупленный. Лоб узкий. Спутанные потные волосы, смазанные репейным маслом. Плечи широкие. Он грязно выругался на мастерового, не уступившего дорогу, и дыхнул пьяным перегаром.

— Так куда? — отдышавшись, прокричал девушке носильщик и низко поклонился крючнику. — Сам Ключков нонче работает.

— Ключков? Гм... — Ольга Генкина недоуменно пожала плечами — ей ничего не говорила фамилия.

— В депутатии к царю был... Большую силу имеет в городе, — почтительно прошептал носильщик. — Да, в депутатии был среди тех, кто вручал царю петицию...

— Чемодан в камеру хранения, — твердо сказала

девушка, испытывая неприятное чувство от встречи с Ключковым. И взгляд тяжелый, и весь непромытый и угрюмый. Наверняка из белой дружины. И повязка на рукаве. Черносотенец! И к тому же большую власть в городе имеет.

— Камеры хранения в Иванове нет... Не доросли до столицы... — Носильщик криво усмехнулся. — «Камера хранения»... Еще чего придумали, милая барышня...

— Как же быть? Мне нужно в городе знакомых повидать, потом пришлю за чемоданом.

— В таких случаях вещи в дамской комнате оставляют... Там и переодеться можно...

Народ, сошедший с поезда, рассосался. Стало слышно, как гудят маневровые паровозы. Вместе с носильщиком Генкина вошла в зал ожидания первого класса. Огляделась. И плюшевые диванчики на резных ножках, и большие зеркала, и непременно для провинциального города пальмы в кадках. Листья, прихваченные морозом, пожелтели. Буфетчик с крохотными усиками, в белом сюртуке и галстук-бабочке держал поднос с сельтерской, застав около сидящего старика. Благообразного. Медлительного. Очевидно, важного барина, которому ливрейный лакей докладывал что-то о лошадях.

Из-за бархатной занавески, отделявшей угол зала, к Ольге подошла женщина. Чернявая. С пучком редких волос. Глаза беспокойные. Подкрашенные брови. В белом передничке, отделанном плиссированной оборкой. Женщина, напоминавшая горничную из хорошего дома, поклонилась и обнажила хищные зубы.

— Эй, Полякова, принимай чемодан! — простуженным голосом приказал носильщик.

— Это ты, Морозов?

— Я, а кто другой...

— Что угодно? — Полякова уставилась беззастен-

чиво на Генкину. — Чемодан хотите оставить? И город посмотреть?

Ольга поморщилась — неприятная угодливость, коварство, эдакая нечистоплотность были в глазах Поляковой.

— Да, разумеется, хочу оставить чемодан. Позднее за ним пришлю человека.

Пройдя за Поляковой в женскую комнату, Ольга увидела в большом трюме, как ловко наклонилась Полякова над чемоданом, и невольно сжалась.

— Маленький какой, а тяжелый-то... Все руки оттянул. — Глаза Поляковой, пытливые и злые, потемнели, но ненадолго. И вновь губы сложились в улыбочке. — Камнями набили его, барышня... Да какая раскрасавица!

— Подожди, Полякова... Подсоблю маленько. — Носильщик приподнял чемодан и, недовольный, что попал в смену этой болтливой бабенки, поставил его на подоконник.

Полякова присела к столику, выписала квитанцию на чемодан и с той же сладенькой улыбочкой подала ее девушке.

— Не изволите сомневаться — все будет в сохранности. Гуляйте по нашему городу... Смотрите, любуйтесь... Потом человека пришлете за вещами или сами на извозчике заглянете... В городе-то первый раз? — В глазах женщины льдинки. — К центру нужно идти — по Шереметьевской напрямик... Как доберетесь до Соковского моста, так ситцевая фабрика господина Гандулина будет... Река-то прозывается Увось... Увось...

Ольга вежливо поблагодарила, удивляясь назойливости женщины. Обстановка в дамской комнате самая незатейливая. Зеркало с дешевой косметикой на полочке. Пудра в цветастой коробочке. Духи. Губная помада. Чистое полотенце. И пахучее красное мыло во французской обертке, конечно, местного производства.

— Не желаете привести себя в порядок? — предло-

жила Полякова и, поймав удивленный взгляд Ольги, сказала: — Вы такая красавица... — и задохнулась от восторга, — вся натуральная — и в красоте за деньги не нуждается... Так, значит, и идите прямо до Соковского моста, коли на фабрику господина Гандулина... А если к торговым рядам, то нужно пройти до Вознесенской площади... Там фабрика господина Гарелина... И Вознесенская площадь...

Ольга слушала с невозмутимым видом. В перечислении улиц и фабрик почувствовала назойливое желание Поляковой узнать, куда приехала эта обладательница чемодана в парусиновом сером чехле. И фабрики перечислила... Хитра... Хитра...

Положив квитанцию в карман пальто и поправив оренбургский платок, Ольга, слегка кивнув головой, оставила дамскую комнату. В зале подозвала носильщика и сунула ему серебряную монету.

Носильщик Морозов долго смотрел вслед уходящей девушке. Голова его пылала. И было отчего. Накануне на вокзале городовые прозевали два тюка с недозволенными изданиями. Караулили, караулили, хотели взять хозяина с поличным, а тюки-то и исчезли. Подъехал незнакомый человек на извозчике, городовые бросились доложить ротмистру, что хозяин, мол, явился, а тот, как оборотень, скрылся. Какой крик стоял! Не приведи, господи! Целый разнос учинили их благородие! И строжайше предупредили, коли что носильщики заметят предосудительного, так обязательно под страхом увольнения и обвинения в пособничестве должны докладывать дежурному жандарму. Дежурство на вокзале круглосуточное, и отговорок никаких быть не может. Морозову не понравилось, как рассматривала приезжую эта змея Полякова. Плохая и опасная женщина. И с жандармами дружбу водила, и в соглядатайстве подозревалась. Служащие ее старались обходить. Но в этом-то разве как поступить: барышня приехала скромная, миловидная — залюбуешься... И этот проклятый чемо-

дан! И случилась такая оказия — чемодан нести ему выпала нелегкая... И барышня-то простая... Коли приехала с опасной ношей, то почему нужно оставлять ее на вокзале, да еще у змеи Поляковой?! И так подумать: откуда ей, горемычной, знать, что Полякова — змея?! Ах, беда, беда... Полякова, когда он уходил, сделала знак... Нужно вернуться и узнать, что задумала проклятая баба. Ослушаться никак невозможно. Ему бы до старости дослужить без происшествия да и уйти подобру-поздорову...

Проклиная в душе подколодную змею Полякову, носильщик поплелся в зал первого класса. Около Поляковой крутился молодой жандарм, каким-то образом оказавшийся в неурочное время на вокзале. Они тихо и, как показалось ему, многозначительно шептались. Полякова посмотрела на него долгим взглядом, выжидая.

— Ну, как чемоданчик-то? — спросил Морозов, удивляясь изменившемуся голосу. — Не приходила еще барышня?

— Нет, не приходила, — с нехорошей усмешкой ответила Полякова. — Держи карман шире... Теперь ищи ветра в поле!

— Да-с, дела... — протянул Морозов, уязвленный тем, что молодой жандарм при его приближении с равнодушным видом отошел от Поляковой.

Полякова вертелась у низкого подоконника, на котором стоял чемодан, и не без труда его передвинула. Сделала это, как показалось ему, нарочито.

— Ну и тяжелый, черт...

— Хозяйка-то загостилась, видать... — начал носильщик и, поймав откровенно насмешливый взгляд Поляковой, сдавленно прошептал: — Доложить, что ли, господину ротмистру?

В глазах проклятой бабы удовольствие. Значит, ждала таких слов, а то донесла бы и на молоденькую девушку, и на него, укрывающего преступницу. Преступницу...

Гм... Почему он так в душе ее назвал, сам удивился. Времена настали проклятые — почти в каждом усматривай преступника. Такая прекрасная барышня! Господи, помилуй грешного... Перед глазами стояла невысокая девушка с удивительно милым лицом. Может, все и хорошо обойдется. Чемодан вскроют, а там книги божественные... И такое бывает — вот тогда никакого накладу: ни ему, проявившему радение, ни барышне, приехавшей по собственной надобности в распроклятое Иваново.

И опять эта баба Полякова гоняла тряпкой пыль. Взглянула и сказала, как отрезала:

— Что ж? Твое дело — можно и доложить... Греха не будет!

Морозов понял — донесла, донесла, чертова кукла. Не дай бог, помедлит еще часик-другой — вот и строчи бумагу, почему не доложил.

Жандармская комната располагалась в зале ожидания третьего класса. На лавках бабы с мешками. Взгромоздит дура мешок на лавку, а сама сидит на полу и глаз с него не сводит. Пффу, овцы непутевые... Кричат дети. Висит сизый дым от самокруток. Мужики курят, невзирая ни на объявления, ни на приказы кондукторов. Курят да поплевывают, боясь не услышать гудок паровоза.

К носильщику с почтением бросились мужики, ломали шапки, спрашивали об отправке поездов. Он им не отвечал. Было противно идти доносить дежурному жандарму. Не по-христиански... Мол, так-то и так: отнес в дамскую комнату чемодан, который вызвал сумление... Гм... Уж не повернуть ли назад... Причина-то какая... Тяжелый... Так получи с хозяйки лишний двугривенный... И в то же время знал твердо, что никто ему таким манером не ответит. Прицепятся, измарают в грязи. Станет он доносчиком без совести и без чести. Жалкий человечешко!

Дежурный жандарм Ганыкин сидел и раскладывал

на столе пасьянс. Привычным движением смахнул карты со стола в ящик и придвинул его животом. Поправил форму, водрузил на голову форменную фуражку, расправил плечи.

— Что тебе? — Выпуклые глаза его с достоинством смотрели на носильщика Морозова.

— Гм... Вот какие делишки — с московского поезда сошла барышня... У них очень тяжелый чемодан. Снес его в дамскую комнату и, елки-моталки, решил тебе сказать... — Носильщик не знал, куда девать руки. Мешали они, да и чувствовал себя отвратительно — прибежал жаловаться, поклеп возводить на барышню, которая ничего плохого ему не сделала. И опять в сердцах ругнул чертову куклу Полякову, из-за боязни перед которой и поставил себя в такое неказистое положение.

Как и ожидал, жандарм отнесся к словам серьезно. Отложил бумаги. Зряшные. Ничего, потерпят... Каждая бумага должна вылежаться... Заявление от пощады о пропаже полуведерного самовара да об обнаружении подкидыша трех месяцев от роду с серебряным крестиком на груди, о лихоимстве приказчика, прихватившего тюк ситца, и прочие глупости, на которые так тароваты обыватели. Чемодан — дело серьезное... Припомнил сразу и судьбу двух тюков литературы, исчезнувших вечером на вокзале... Снял очки и, постучав карандашом по столу, с сердцем сказал:

— Живо доставляй его в жандармскую комнату... Посмотрим, откуда тяжесть такая... Да, иди, мил человек, иди... — и нахмурился: медлительность носильщика его раздражала.

Морозов тащил чемодан по вокзалу без удовольствия. Чемодан казался вдвое тяжелее прежнего. Бил по ногам, от напряжения отсыхала рука. Дело паршивое. Наверняка в чемодане что-нибудь отыщут, тем более что хотят отыскать — это видно и по Поляковой, которая ласы точила о чемодане с жандармом, и по дежурному, обра-

дованному возможности показать собственное усердие. Рыльце-то в пушку... Вот и задумал выслужиться перед ротмистром Левенцом, уехавшим в часы присутствия — господам все сходит с рук! — на охоту. И он, старый бес, влез в историю — теперь затаскают по полиции да судам. И как ни странно, ему стыдно будет взглянуть в лицо девушки. Какая-то в ней была сила. Чистая... Правдивая... И глаза добрые... Попросила донести чемодан, заплатила серебряный пятиалтынный — все благородному, по-честному, а он этот чемодан да к жандарму?! Экая оказия... В душе он ждал, что жандарм отошлет его обратно и даже посмеется. Но теперь, когда дело принимало плохой оборот, чувствовал себя неважнецки. Загребут ее, загребут да в казематах и сгноят... От красоты-то ничего не останется!

Жандарм приказал положить чемодан и вышел из-за стола на середину комнаты. Попробовал его приподнять и свистнул:

— Эка набили... — Крупными пальцами ловко растегнул чехол. Потрогал замок и рассердился: — Ишь какая прыткая — чемодан заперла... — И, обернувшись к Морозову, приказал: — Давай ножик...

— Какой? — удивился Морозов.

— Да маленький... Перочинный... Замочек-то и подденем.

У Морозова был складной ножик. Обычно им сало, приносимое из дому на обед, резал. Не в силах побороть дух противоречия, сказал насупившись:

— Зачем без барышни чемодан трогать? Может быть, там ничего и нет... Вот придет хозяйка, тогда и спросим ее по-хорошему...

— Глуп ты, батенька, дубина ты стоеросовая... Да у меня на это дело нюх! В такое смутное время поедет барышня в чужой город с пустыми руками... Наверняка курсистка, и все они одним миром мазаны. — Воображение жандарма работало быстро. Он суетился, хлопо-

тал около чемодана. — Сейчас мы тебя, голубчик... Сейчас ножичком... Ножичком...

Замок открылся не сразу. Заклинился, и ни туда и ни сюда. Потом слабо звякнул и с неохотой пополз в сторону. Распахнулась крышка. Газета. Жандарм стащил эту газету. Выкинул подушечку с наволочкой в зеленый горошек. Несколько пар женского белья. И новая газета во всю ширину чемодана. Сдернул и ее — и глазам не поверил... Смит-вессоны. Десять блестящих вороненой сталью! Смазанные веретенным маслом, укутанные воценой бумагой. И под револьверами — патроны. В обертках, пахнувшие дымком.

Жандарм в восторге подтолкнул локтем Морозова. У того вытянулось лицо. Дыхание стало частым, испуганным. Вот откуда эта проклятая тяжесть. Ну и милая барышня... Жандарм не мог прийти в себя от изумления.

— Смит-вессоны и патроны... Да одних патронов четыреста штук! Пожалуйста, товарищи, стреляйте в царевых слуг! Конечно, оружие до зарезу нужно большевикам и дружинникам... Как это я сразу не догадался... Думал, может, шрифт или прокламации, а тут — оружие... Да на целую дружину... Десять смит-вессонов да четыреста патронов!

Морозов бессильно опустил руки. Вот и барышня! Милая да скромная. А сама патроны тащит. Не девица, а Соловей-разбойник. Почто девицам не сидится дома? Видно, из благородных, и обучена разным языкам, и родители люди состоятельные... Барышню завсегда видать... Голова кругом идет — так и до тюрьмы недалеко. И сразу обожгла мысль — небось и в тюрьмах сживала. Вот откуда ее спокойствие! Еще бы... Таковую ничем не удивить... И все же в глубине души он жалел барышню, столь неожиданно попавшую в историю. Сильное впечатление на него произвела. Теперь не только от тюрьмы, но и от матушки Сибири не отвертится. И перед глазами опять выплыла незнакомая девушка.

С высоким чистым лбом. С ясным взором. С темно-русскими бровями. С ямочками на щеках. И длинной, ниже пояса, косой, как у чудо-девицы. Плавная в движениях. Настоящая царевна-лебедь. И как он ни пытался себе объяснить, что она — смутьянка и крамольница, что дело сделал нужное, спасая государство от преступницы, в глубине души осознавал, что поступил подло и никакие наградные, о которых беспокоился жандарм, не принесут ему умиротворения.

— Значит, Морозов, договариваемся — чемодан отнеси в дамскую комнату. Я дам приказ, чтобы барышню при появлении на вокзале схватили бы и привели ко мне. — Ганыкин возбужденно ходил по комнате. — Тебе придется побыть рядом с жандармом для ее опознания. Наверняка явится не одна — вот и узнаем: к кому приехала и что дальше собиралась делать. Под корень вырвем всю организацию! — И опять он повернулся к носильщику: — Смотри, от жандарма ни на шаг! Чуть заприметил — шепни... И чтобы никаких знаков. Ни-ни... Сам пойдешь в Сибирь, черт старый! Видишь, какая злоумышленница да социалистка! Ухо остро держи — птица-то непростая. Из самой первопрестольной прислали в Иваново... Господи, что ж получается — своих злоумышленников переловили, так из других городов присылают! Беда, беда одна...

Морозов не стал слушать сетования Ганыкина. Уныло захлопнул чемодан и потащил в зал первого класса, проклиная себя в душе. Что ни говори, а доносчиком и наушником он еще не бывал! Да и низкое это ремесло. Вот она, жизнь! До всего доведет...

ЯВОЧНАЯ КВАРТИРА НА ШУЙСКОЙ

Иваново-Вознесенск. Ноябрь, 1905 год

Ольга вышла на привокзальную площадь. Поднялся ветер с низины, и колющий снег неприятно пощипывал руки, лицо. Поглубже закуталась в платок и с

удовольствием вдыхала морозный воздух. К вокзалу примыкал скверик, обнесенный низкой загородкой. Со стороны площади вокзал, украшенный парадной лестницей, с вазами для цветов, в красно-синих стеклах, с резными двойными наличниками казался необыкновенно нарядным. Здание вокзала резко отличалось от товарных складов, почерневших бараков, куда вносили кипы хлопка, закатывали бочки с керосином, устанавливали ящики с английскими этикетками. Суетился приказчик, наблюдавший за разгрузкой дорогих английских машин для фабрики Гандулина. Вокзал лязгал железными люками подвалов, промасленными створками ворот пакгаузов, кричал паровозными гудками и пронзительными свистками маневровых составов, сохраняя энергичный ритм большого промышленного города. Лохматые крестьянские лошаденки, низкорослые и с провалившимися спинами, беспокойно всхрапывали, испуганные суматохой и кутерьмой. Громко рядились извозчики, старавшиеся сорвать лишний пятиалтынный с приезжих, пялили глаза на парадный выезд купца Гандулина. Экипаж новенький. С фонарями. На дутых красных шинах. И приказчик в европейском платье. И кучер в цилиндре. Приказчик посматривал на часы, вынимая их без надобности из жилетного карманчика для вящего убеждения извозчиков. Приказчик ждал фабриканта Гандулина, пожаловавшего из первопрестольной.

На стыке привокзальной площади и Большой Шереметьевской улицы, перпендикулярно спускавшейся к вокзалу, стоял трактир. Низкий. С вывеской, удивлявшей своими размерами. В простенках между окнами находились красочные щиты, рекламирующие прелести трактирной кухни. Человек с необъятным животом, улыбаясь, нес на вытянутой руке блюдо с румяным поросенком. На другом щите из котла, как из рога изобилия, падали толстые сосиски, и улыбающийся человек приглашал посетителей их отведать. Был нарисован в клу-

бах пара самовар с медалями и с начищенными боками. На конфорке чайник в крупный горошек, на подносе — хоровод из пузатых чашек. Груды блинов с семужкой да балычком тащил завитой половой в простенке возле углового окна.

«Да-с, купец от скромности не умрет», — усмехнулась Генкина и пожалела, что не выпила в вокзальном буфете стакан чая. Около трактира толкался народ — и мужики окрестных деревень, и бабы в цветастых полушалках, приехавшие за покупками, и крючники, разухабистые, задиристые. Трактир жил обычной жизнью, стонал пьяными голосами, криками зазывал и ржанием лошадей, оставленных у коновязи на попечение замерзших баб.

В Московском комитете партии Ольга Генкина получила явку для Иванова на Шуйскую улицу в Ямах. Там снимала комнату некая Князева.

Хотя Ямы, как объяснили товарищи в Москве, и были близко от вокзала, но фактически считались пригородом Иванова. Район рабочий, заселенный беднотой. С узкими кривыми улочками. С домишками, вросшими в землю. С полуразрушенными заборчиками. Со скрипучими калитками. С кривыми тоненькими деревцами. Дома имели нумерацию, на которую никто не обращал внимания, и известны они были по фамилиям владельцев.

Во двориках неременная конура, откуда с хриплым лаем выскакивала собака с ввалившимися боками и тусклой шерстью. Нищета кричала, вызывала щемящее чувство боли.

В Москве Генкина тщательно изучила план города Иванова. И пошла от вокзальной площади не к Большой Шереметьевской улице, которая приводила к центру города, где располагалась управа, а направо. Прошла лесной склад с завалившимся забором, с бродячими собаками, крутящимися около возчиков. Большущая

дворняга, серая, в черных подпалинах и с веселыми глазами, бросилась к ней. Ольга, любившая собак с детства, остановилась. Собака подбегала крупными прыжками, но за несколько шагов замерла, раздумывая, что делать дальше. Ольга достала кусок калача и протянула собаке. Та понюхала и резким вороватым движением выхватила его, едва не прикусив пальцы.

— Ну, Шалопай, не балуй... — замахнулся палкой возчик в фартуке, измазанном краской. — Иди, иди, барышня... Он не тронет...

— Да я собак не боюсь... Зачем вы на него с палкой-то? Он и слова понимает...

— Слова понимает... Да собака — тварь бессловесная. — Возчик вновь замахнулся на собаку, и та, испуганно поджав хвост, отбежала к забору... — Сидеть, Шалопай!

Ольга с жалостью посмотрела на собаку и ушла, испытывая неприятное чувство. Куражится с пьяных глаз над собакой. Что же он дома, в семье делает? Пустой человечешко... Пустой...

Троицкой улицей, примыкавшей к лесному складу, добралась до ее пересечения с Крестовоздвиженской. Скрипел слежавшийся снег под ногами. Воздух ядреный. Синий. От свежести кружилась голова.

День. Ясный. А дома наглухо закрыты. Во двориках за ржавыми сетками голуби, распушившиеся от мороза. Торопливо проходили сгорбленные фигурки. Ребятишки в пиджаках с отцовского плеча, перехваченных ремнями. Девчушка в заштопанном старушечьем платке везла на санках охапку сушняка. За заборчиком виднелась прокопченная труба бани. Попадались лавчонки для мелочной продажи. С пустыми бочками из-под селедки. С винными бутылками в золотистой стружке. Лавочник с толстым животом стоял у двери и внимательно смотрел на незнакомую женщину. Здесь и распивочные — кабаки. У кабаков люди. Жалкие, опустившиеся. С блуждаю-

щими глазами. Полураздетые. Дрожавшие на морозе. Они жадно курили и о чем-то договаривались, поджидая сказочного принца, который придет с деньгами и угостит стаканчиком сивухи.

«Однако как много пьяных в городе... — с болью подумала Ольга, переходя на другую сторону улицы. — Какая же нищая Русь! И сколько искалеченных судеб... Работать интеллигентам нужно, работать не покладая рук».

И она заспешила, каждая минута дорога. Мысль ее вновь вернулась к этим обездоленным рабочим. Положение ужасающее. Выжав все соки, фабрикант их выгонял на улицу. Из здоровенных крестьянских парней к сорока годам делали стариков, стоявших на папертях церквей с протянутыми руками. Об этом ей рассказывал в Нижнем Багаев, когда звал на партийную работу в Иваново.

И опять домишки, задавленные снегом. Жалкие деревца в снежном уборе, бездомные собаки да детишки, напоминавшие стариков. Конечно, с восьми лет ребенок идет на фабрику штрифовалом — растирщиком красок. Как ему сохранить здоровье? Непременно нужно вырвать этих детишек из нищеты и голода. И опять сердце Ольги колыхнулось от боли.

Зашла в мелочную лавку, пахнувшую мылом и скипидаром, желая убедиться в отсутствии слежки. Нет, все тихо. Да и на улочке нет прохожих. Ее все еще смущал господин без вещей, сопровождавший в поезде из Москвы. Возможно, и случайный попутчик... Нет, глаза профессиональные да и манера не смотреть на того, за кем ведется наблюдение, — хорошо ей знакома. Шпик, непременно шпик.

Поблуждала по улочкам города, словно по страшной сказке — горбатым, почерневшим, с домами, заваленными снежными сугробами. Идти на явку рано, а познакомиться с местами всегда полезно. Очевидно, кварти-

ру нужно снять в центре. Тут, в захолустье, каждый человек на виду. По Крестовоздвиженской улице вышла на Петропавловскую. Поболталась в лавке купца Свиридова, где шла торговля готовым платьем. Костюмы. Синие штаны. Тройки с жилетами. Красные рубахи. Красные сарафаны. Башмачки на каблучках. Калоши с лакированным глянцем. К Ольге подскочил приказчик с завитым чубом и предложил коробку с разноцветными лентами. Красно-сине-зеленые... У девушки, стоявшей рядом, глаза разбежались. Все хотела купить, да не на что. Ольга, не выбирая, взяла аршин муаровой ленты.

И опять бродила по улицам, вглядываясь в черты незнакомого города. За Крестовоздвиженской улицей начинался район Иконниково. В Московском комитете партии знакомилась с этим районом по самодельному плану. И свернула на Петропавловскую улицу. Мрачной громадой выплыла в памяти Петропавловская крепость, мимо которой с таким страхом и болью ходила по Петербургу. Почему в такой глуши и Петропавловская улица?! Станный ивановцы народ! Нда... Конечно, здесь и церковь Петра и Павла.

Девушка пересекала безымянные улочки и переулочки и оказалась на Александровской улице. Скрипели полозья, тащился обоз с дровами. Березовые поленья, покрытые изморозью, лежали одно к одному.

Вознесенская площадь застроена красными кирпичными домами. Неподалеку торговые ряды. С десятками вывесок, полуразвалившейся галереей, узкими железными дверцами и крутыми ступенями в полуподвалы. Рядились мещане с купцами, ссорились хозяйки, покупая мороженую картошку, сидели откормленные коты у мясных лавок. Пробегали подмастерья в холщовых рубахах за водкой для хозяина. Скандалил пьяный сапожник, размахивая молотком. Стайками носились воробы около коновязи, пытались разжиться овсом.

Прокопченное здание больницы для чернорабочих,

бесплатное городское заведение, поражало бедностью. Больные толпились в очереди на улице. Тут и городской. Важный. Надутый. Орущий на старух, раздражавших его бестолковостью. И женщины. И детишки, посиневшие от холода.

Генкина прошла мимо красного здания городского училища. С большими окнами, с обвалившимися ступенями лестницы и мальчишками, с ожесточением дерущимися снежками. Ребята разделились на две команды и кидались друг на друга по всем правилам военной науки. И такое счастье было на их чумазых лицах, что Ольга залюбовалась. На крыльцо вышел инвалид на деревянной ноге, остервенело заколотил звонком. Ребята не сразу прекратили бой — снег, выпавший недавно, одурманивал. Серой стайкой понеслись в школу.

За училищем приют. Мальчики, испуганные, разметали дорожки вокруг дома. Окна крошечные. С тусклыми, прокопченными стеклами. Выхаживали воспитатели. Худой и высокий человек держал мальчишку за ухо и старательно что-то ему выговаривал. Мальчишка ухитрялся корчить смешные рожицы. Но вот он изловчился и, укусив воспитателя за палец, под одобрительный смех проскочил в приют.

Засмеялась и Ольга — вот он, ивановский характер! Молодец!

Прошла мимо ткацкой фабрики Гарелина. Фабрикант был героем многих легенд, бытовавших в городе. И про отца его ходили байки. Это он безобразничал и каялся, памятуя «не согрешивши, не покаешься». Раздавал по воскресным дням пятаки нищим на поминание душ усопших родителей. В Иванове, как и в Нижнем, купцы имели обыкновение устраивать «поминальные дни». Купец выходил во двор, чтобы раздать нищим пятаки. Вереницей тянулись нищие, и хмельной купец, не глядя, совал каждому пятак и руку для целования. Рядом топтался приказчик и зорко следил, чтобы никто из бродяг не посмел подойти за новым пятаком.

На площади около дверей фабрики какой-то мужичок в драном полушубке размахивал шапкой, зажатой в руке, и сиплым голосом пел:

Фокин Яша — фабрикант,
У него такой талант:
В день субботний поминает
Он усопших и живых,
В воскресенье оделяет
Булкой нищих и слепых,
А другие дни седмицы
Он на фабрике своей
Покрывает то сторицей,
Шаркнув штрафом всех ткачей...

К подвыпившему подмастерью кинулся городской, придерживая пашку, бьющую по голенищу сапога. В правой руке свисток. Щеки его раздулись, дыхание неровное. Мужичок выкидывал такие коленца, что выходившие из торговых рядов держались за животики. Подмастерье бойкий да развеселый. И вприсядку отплясывал, и на руках стоял, поднимая вверх ноги в драных сапогах, и рожи корчил уморительные, чем особенно веселил горожан, — и затем, проявляя редкостную сноровку, ускользал от городского. Это был поединок, и складывался он не в пользу городского. И Ольга остановилась, чтобы посмотреть, чем закончится этот поединок. Нет, таких городовому не сломить! Кишка тонка!

На Вознесенской площади раскинулся шатер цирка. Зазывала бил в медные тарелки, подбрасывая колпак, украшенный колокольчиками. Пританцовывал медведь, вызывая восторг ребятишек. От мороза голос у зазывалы сиплый, руки посиневшие. Синева проступала сквозь румянец на загримированном лице, да и веселье напускное. Ольга, любившая цирк с детства, с трудом подавила желание посмотреть представление. Циркачи выгуливали собак. Разных. И громил-дворянг. И тойтерьеров с блестящей шерсткой, дрожавших каждой жилкой. С огромными глазами. Циркач в меховом пальто дер-

жал тойтерьера за пазухой. Тот высовывал мордочку в желтых подпалинах и безудержно лаял. И вдруг исчезал, спрятавшись за пазуху. И это очень веселило ивановцев.

Водили дога, напоминавшего теленка. Дог гордо поднимал голову. Конечно, понимал, что он — красавец. Хозяин, кутаясь в шерстяной шарф, был, как говорится, при доге. И смотрел заискивающе, и поводок держал с благоговением. Характера хозяин не имел, гулял неохотно и, если бы не строгий глаз дога, давно бы сбежал с этого мороза в цирк.

Словно гусеницы, ползали рыжие, пушистые собачонки, оглашая морозный воздух визгливым лаем. Среди них и самый счастливый человек, артист провинциального цирка. Розовощекий. Плохо одетый. С нарочитой строгостью он уговаривал питомцев в небесных жилетах гулять достойно, и примером им был дог в серых яблоках.

«Нет, ивановцы прекрасный народ, — решила Ольга, — и поработать в этом городе можно по-настоящему!»

Ольга посмотрела на часы — время идти на явку.

По Ямам шла уверенно, как и полагалось по законам конспирации, словно бывала тут неоднократно. Остановилась около магазина готового платья, напоминавшего обилием выставленных манекенов театральную сцену. И мужчины во фраках. И дамы в вечерних туалетах. И горничные в кружевных фартучках с накрахмаленными оборками. И мальчуганы в синих гимназических формах с начищенными пуговицами. И вывески на стенах дома с теми же костюмами и улыбками манекенов.

Ольга прибавила шаг. Вот и Шуйская улица, где находилась явка. Невольно посмотрела на тюремное здание, расположенное на противоположной стороне. Сердце сжалось. Мрачное красное здание, напоминавшее фабричное. Окна в железных переплетах. И карцеры. Ольга

узнавала их сразу: закрытые ставни и крошечные форточки вместо окон. Полосатая будка, где застыл, обляпав винтовку, солдат нижегородского полка. Дверь в железных прутьях, к которой вилась очередь между сугробами. Молчаливая. Скорбная. Стояли женщины. И в руках узелки с неизменной литровой бутылкой молока и краюхой хлеба. Подъехала тюремная карета. С облучка прыгнул жандарм и, прокричав напарнику, высунувшемуся из окошечка, побегал к воротам. Лошади гремели удилами. Вышел из будки жандарм, махнул рукой, и карета, тяжело наклонившись, въехала в распахнутые тюремные ворота. «Вот и сомкнулись полосы на воротах, — подумала Ольга. — Вот и все».

На Шуйской улице Ольга Генкина остановилась около домика, выкрашенного зеленой краской. Калитка плотно закрыта. Крутящийся звонок. Ольга, оглядевшись по сторонам, повернула звонок. Слышался хриплый собачий лай. И равномерный звук пилы. Но вот стукнула дверь, проскрипел снег, и приветливый голос спросил:

— Кто там?

— Откройте... Свой. — Ольга замолчала, испытывая волнение.

Настораживала и тишина. Казалось, кто-то неведомый прислушивается не только к ее словам, но и к биению сердца в груди.

Калитка распахнулась. Немолодая женщина, осмотрев пришедшую, попросила зайти во дворик. Лицо приятное. Улыбчивое. Ольга закрыла за собой калитку.

Женщины обменялись паролем. И Дарья Ивановна, хозяйка домика, удивилась, что такая молоденькая девушка была не только посланцем Московского комитета партии, но и обладателем пароля третьей степени доверия. Пароль третьей степени доверия давал ей право не только узнать о положении дел в партийной организации, но и войти в руководство этой организацией.

— Собственно говоря, я к Анне Князевой, — уточ-

нила Генкина в конце разговора, не переставая, в свою очередь, разглядывать Дарью Ивановну.

Взгляд этих больших глаз не беспокоил Дарью Ивановну. Конечно, такой взгляд может быть у доброго и порядочного человека. Все последние дни, связанные с разгромом боевой организации большевиков и убийством Афанасьева, в город, наполненный казаками, солдатами и городскими, стянутыми властями на случай беспорядков, а точнее, в домик Черникова, приезжали товарищи из Москвы. Нужно было поддержать и укрепить партийную организацию. Дарья Ивановна высоко ценила мужество приезжавших товарищей, а о себе не думала. Какое тут бесстрашие — сидит себе в собственном доме. Ольга ей особенно понравилась — и красивая, и простая, и партийный опыт. О работе Генкиной как в Петербурге, так и в Нижнем была наслышана от Михаила Фрунзе. Одно плохо — слишком красивая была Ольга, для конспирации весьма заметная. Жить бы такой да радоваться, а она — в самое пекло.

— Анна Князева в город пошла. Безработная после стачки — вот и мается. А вы проходите в дом. — Дарья Ивановна кивнула своему мужу.

И опять Черников начал пилить дрова. Пилил дрова он неспроста, как это поняла Ольга, а чтобы находиться во дворе и охранять явку от непрошенных гостей. Завизжала пила, мелким снежком посыпались опилки, с ровным стуком падали на землю чурбачки.

В горнице, разделенной русской печью на две неравные половины, сидели люди. К удивлению Ольги оказавшиеся москвичами. Тоже привезли транспорт литературы. Поговорили недолго, и москвичи ушли. Ольга осталась с товарищем по кличке «Лапа», секретарем городской организации. Настоящая его фамилия Колотиллов.

Помолчали. Приглядывались друг к другу. Вместе и жить, и работать в такое времечко тяжелое.

В комнате стол под клеенкой с петухами. Дубовые

табуретки. Лавка вдоль оконцев, зашторенных занавесками. Горшочки с цветущей геранью. Русская печь также расписана петухами. С большой лежанкой. В углу ухваты с ручками, украшенными резьбой. Выскобленный пол пахивал свежеструганным деревом. В углу икона и незажженная лампада.

Дарья Ивановна кончила чистить картошку и, ловко подхватив ухватом чугунок, засовывала его в печь. Раскраснелась от горящих углей. И помолодела. Спокойная, слова роняет неторопливо, словно жемчуг на нить нанизывает:

— Аннушка придет из лавки, наверняка селедку принесет, и попопдничаем славно. Селедочка да с горячей картошкой при морозной погодке — удовольствие одно!

Удивительная женщина. И такая улыбчивая. С русыми вьющимися волосами, собранными на затылке в большой пучок, с полной шеей, придававшей благородную осанку голове. С умными и проницательными глазами. И еще раз подтвердила Ольга в душе — удивительная женщина добро несет каждому.

— Почему хозяина на морозе держишь? — не вытерпел Колотиллов. Говор ивановский, слова выговаривал «с заводцем», растягивал. В глазах усмешка. Ему-то известно, какое чувство любви и уважения связывало этих людей. — Нехорошо, нехорошо, Дарья Ивановна.

И как ни странно, шутейные слова эти расстроили Дарью Ивановну. На глазах чуть не слезы, и губы поджала.

— Во дворе он не без толку... Дрова колет да нас с тобой охраняет. Другое дело, наступили такие времена, что добрые люди собраться вместе не могут — ждут непрошенных гостей. — И, подобрев от воспоминаний о муже, сказала: — Кстати, коли что, переходите сразу в боковушку, там дверь — в сарай... И из сарая — в баньку... Банька забором не огорожена и имеет выход в пере-

улок. Переулок утрами завсегда пустой — народ-то на фабрике...

Залаял пес. Все насторожились. Дарья Ивановна едва приоткрыла занавесочку. Успокоилась.

— А вот и Аннушка! — с мягкостью произнесла Дарья Ивановна, помогая пришедшей снять пальто. — Давай, давай селедку, баловница... Сама без работы пятый месяц, а деньги-то не научилась беречь. К тебе товарищ из Москвы...

Ольга подошла к девушке и протянула руку. Девушка ей также понравилась — и лицом светлая, и волосы с золотым отливом, и держится скромно. Правда, лет не более восемнадцати, но когда в революции восемнадцать лет было помехой?!

Ольга хотела поговорить, порасспросить ее, но девушка опередила:

— Вы — Генкина? Мы вас ждали... Багаев успел письмо прислать и предупредить о вашем приезде. Кстати, почему не написали — мы бы встретили. На вокзале в эти дни опасно — городовые, казаки, шпики.

— Поэтому и не написала, — улыбаясь, ответила Ольга. — По законам конспирации одной легче затеряться на вокзале, да еще с чемоданом.

— С оружием?! — всплеснула руками Дарья Ивановна и порозовела от радости. — И какое же? Извините за поспешность, но оружие — главное, чего не хватает в городе. Дружины без оружия — вот погромы и гуляют по городу. Городовые все тайники обчистили. Револьверы, маузеры, винтовки... О патронах и думать не смеем. Коли тайники и сохранились — да как им не быть у рабочего человека, — с хитрецей в голосе заметила женщина, — то патронов нет. Расхозяйничалась черная сотня — знают, что проучить их дружинникам нечем. Враг, уверенный в безнаказанности, страшнее волка. Дружинники лишь кулаками машут, видя, как безобразничают купчики да приказчики. Страшные... Страшные времена... С оружием все быстро станет на свое место.

Бывало уже такое. Летом полиция по просьбе фабрикантов да заводчиков учинила погромы в рабочих районах. И сразу запылали хозяйские усадьбы да господские склады. Солдаты пошли войной на рабочих, и тут дружинники приняли бой. Сразу богатеи в чувство привели — баре из города подались в Москву, а солдаты в рабочие районы и дорогу забыли... Оружие — это сила! Правда, рабочему человеку смекалки не занимать. Тут у нас прошла сидячая забастовка. Да, сидячая... Собралось тысяч тридцать рабочих у здания городской управы на Воздвиженской площади. Полиция попыталась их разогнать, а городская власть ответа на наши требования не дает, совещается. Тогда рабочие сели на мостовую. И я с муженьком тоже. И кто-то крикнул: «Смотрите, опять солдаты вызывают!» Что ж! Давай выковыривай булыжник из мостовой, чтобы в случае нужды можно было защищаться. Каждый вынул булыжник. Отборный. Увесистый, так сказать, взял на вооружение. Всю мостовую разобрали! Потом власти велели народу идти на Талку и ждать решения. Рабочие ушли с красными флагами и унесли почти всю мостовую. Как кабаны вспахали... Ха-ха-ха... И у каждого отграненный ветрами камушек эдак фунтов на пять!

— Замечательно! Просто замечательно! Булыжник в рабочих руках — страшная сила! — Ольга с возрастающим интересом слушала ивановцев, и все приятнее становились незнакомые люди, с которыми предстояло делить трудности подполья.

Колотилов молчал покуривая.

Дарья Ивановна разрезала селедку, причмокивая губами от удовольствия и вытирая залитые жиром пальцы, заметила:

— Садитесь, девчата, к столу, и разговор сердечнее, и сойдется поближе... — И, обернувшись к Ольге, спросила: — Какое привезли оружие: браунинги или револьверы?..

— Десять смит-вессонов да четыреста патронов... —

Ольга виновато объяснила: — Больше не могла — тяжесть несусветная, и так пришлось и в Москве, и в Иванове носильщика брать. Да каждый оговаривал, что в чемодане тяжесть большая. По законам конспирации таких вещей делать не следовало бы, но жадность одолела — хотелось побольше доставить оружия.

— Без оружия нам конец... — Дарья Ивановна нахмурилась и хотела сказать, что плохо, когда на чемодан с таким грузом обращают внимание, но, взглянув на смеющихся девушек, которые явно симпатизировали друг другу, промолчала. И в сердцах обозвала себя вороной, готовой каркать и накликать беду. Старость — не радость... — Ну и селедочку удружила Аннушка... Расчудесная просто... Расчудесная...

Они сидели за столом. Колотиллов. Генкина. Дарья Ивановна и Аннушка. Ели картошку из русской печи. Разваристую. Рассыпчатую. Поливали ее постным маслом и брали по маленькому куску селедки. (Селедка-то денег стоила, где их взять, коли на фабрики не принимают лиц, заподозренных в политической неблагонадежности!)

Долго пили чай из тульского самовара, украшенного медалями и начищенного до блеска. Дарья Ивановна наколола рафинад мелкими кусочками в честь приезда московской гостьи и покрепче заварила морковный чай. Пахучий. Сладковатый. И опять лилась беседа. Обстоятельная и неторопливая.

— Последние погромы начались с 21 октября. Купцы Куражовы вынесли на площадь царский флаг и устроили молебен. Какими только проклятиями не грозились, какие кары небесные не призывали на головы смутьянов! С ними святые отцы Воздвиженского храма, что близ городской управы. Потом после погрома купец Куражов кричал народу: «Это наказание от бога! Рабочим за непослушание!» И другие купцы требовали погрома, именно требовали. И не скупились — кто давал десятки, кто

и сотни рублей. А потом и сами черносотенцы забегали по лавочникам и обязывали каждого вносить деньги на нужды. Нужды известные — вино да оружие. По Иванову заходили темные личности. Сквернословили, грозились, попрекали Талкой и обещали народу: «Пустить кровь кому надо!» Где сборище — тут и казаки. Охраняли. За казаками — полиция. Боялись, чтобы громил с опухшими рожами не обидели. — Дарья Ивановна говорила медленно, словно вела скорбный перечень злодеяний. — И толпа черносотенцев с божьего благословения ринулась на град Иваново. Пела дурными голосами царский гимн и духовные псалмы. Полицейские нагайками указывали на тех, кого нужно было убивать. И тут же кидались и уничтожали неугодных. В руках — дубины, камни, железные прутья.

— А полиция?! Почему полиция не охраняла порядок?! — зло спросила Генкина, хотя понимала несерьезность вопроса. — В функции полиции входит поддержание порядка в городе.

— Как же?! Полиция охраняла погромщиков, боялась, что дружинники их остановят. За несколько дней до погрома полиция составила списки неугодных. Списки погромщикам на руки не давали. И как дать? Служители царя и отечества с утра до вечера были пьяными, так имена неугодных полиция им подсказывала. Доходило дело до курьеза. Начали громить одного, а тут полицейский бежит: «Нет, этот человек — патриот, не троньте его, а громить нужно другого, из шестого номера». Лавочник с приказчиком выкатили глазищи и перешли на другую сторону. А за ними — орущая толпа. — Дарья Ивановна, свидетельница этой драмы, говорила, потрясенная. — В Ямы перед погромом за несколько недель прислали нового полицейского. Тот ходил по Ямам в штатском, благо его никто не знал. Вынюхивал, выспрашивал, выслеживал, потом в околотке в полной форме объявился. Все так и ахнули. И громили же нашего брата! Талку забыть не могут...

Колотилов остановил Дарью Ивановну.

— Что мы все про Иваново да про Иваново... Расскажи, какие дела в Нижнем. И там небось друзей оставила.

— А как же без друзей?! У меня прелюбопытный характер — везде хочется побывать, где трудно. — Генкина улыбнулась, и ямочки на щеках заиграли. — Как ни удивительно, но завидую вам, пережившим Талку. Семьдесят два дня в городе рабочий Совет! Первый в России! Первый... Я читала газетные сообщения тех дней, старалась встретиться с каждым, кто объявлялся из ваших краев. Газеты белели чистыми полосами — сообщения-то изымала цензура. И в Нижнем бывало трудно до слез — набегаяешься, еле дух переводить, а как отвяжешься от шпиков — так и счастлива! Глоток свежего воздуха — на вес золота! Как-то я несколько дней из подпольной типографии не вылезала — спрятали так, что до магмы рукой можно дотянуться. Дышать нечем. Лаз длинный, как раз под полицейским участком проходил — для конспирации нижегородцы такое придумали. Работали, согнувшись в три погибели. И изготавливали тысячу прокламаций. Я считалась разносчицей. На беду, наборщик заболел — вот и пришлось мне, как говорил напарник, красу свою ненаглядную чертям на съедение отдавать. Пот градом катил, во рту сухость, глаза слезятся. А работать надо! Кто-то должен — так почему не я?! — Генкина доверчиво посмотрела на Дарью Ивановну. — И хотелось одного — подышать полной грудью. Когда оказалась на улице, долго не могла унять дрожь в коленях. Словно клоун, по земле шла, как по крутящемуся шару, и все силы души были сосредоточены на одном — не сорваться, удержаться. И все же упала, прижалась к мостовой, не могу глаза открыть. Все закружилось, завертелось, и страшно: думаю, вот сейчас меня задавят ломовые, встала с трудом, и такая радость заполнила сердце, что и сказать невозможно. Нет, самое главное чудо в жизни — жить!

Захрипели часы. Цепи со скрежетом поползли вниз. Чугунные сосновые шишки. Хрип сильнее, и на красное крылечко выскочила кукушка. Вздогнула на ножках-пружинках. С падающим хвостом и крутящейся головой. Кукушка обвела комнату нарисованными черными глазами и стала куковать, торжественно отсчитывая часы.

— Как времечко-то бежит, — заметила Князева, поглядывая на Генкину, которая ей все больше нравилась своей бесхитростностью, — не успели обзнакомиться — одиннадцать бьет!

Дарья Ивановна удивленно подняла глаза и также посмотрела на часы. И все же решила закончить свой рассказ о событиях в Иванове — не утихала боль, не зажили раны.

— Рабочие требовали от фабрикантов немногого — элементарных человеческих прав. И главное — жилище. Летом рабочие ютились на сеновалах да чердаках, а зима загоняла их на квартиры — в среднем по статистике на человека жилплощадь в Иванове не превышает одного квадратного аршина! — Дарья Ивановна также чувствовала симпатию к Генкиной, которая приняла сердцем их боль. — Зарабатывает неквалифицированный рабочий мало. И на эти крохи должен прожить с семьей да еще платить две трети заработка за квартиру. Хозяева никаких требований об улучшении жилищного вопроса не принимали, и тогда в мае вспыхнула стачка. «Не хватает сил больше терпеть! Оглянитесь на нашу жизнь, до чего довели нас хозяева! Довольно! Час пробил! Не на кого нам надеяться, кроме как на самих себя. Пора приняться добывать себе лучшую жизнь! Бросайте работу, присоединяйтесь к нашим забастовавшим товарищам...» — так мы писали в листовках. Помню, как двинулся народ к Воздвиженской площади. Фабрики несли красные знамена. На площади перед городской управой море людей. Управа в два этажа — на первом магазин готового платья купца Силантьева. Отцы города ничем не отличались от мане-

кенов, выставленных в окнах магазинов. Каждый старался выглянуть на площадь, спрятавшись за чужое плечо. Я стояла близко к Воздвиженскому собору, что наискосок от управы, и насмотрелась. Из собора высыпали священники, монахи. В клобуках. Обхватили кресты и визирали, готовые посылать рабочим проклятья... Все хочу икону выбросить, да Иван Иванович не велит: что, мол, за дом без иконы. Пускай висит для конспирации. И монашки... Крестятся — перепугались-то как! А фабричные занимают площадь. У городской управы городовые. И конные подросли спасать отцов города. Фабричные и на крышах, и на фонарях. Чистая публика — дамы с зонтиками, господа в котелках — жметесь к собору. Народ взбунтовался! Вся площадь в белых косынках работниц, словно в ромашках. Бабы ивановские аккуратистки. Городовые хотели в ход кулаки пустить, да народ зашумел — не посмели. Рабочие вызвали отцов города на переговоры и руки с мозолями показали. Молчать больше нет силы! Сбоку управу охраняли конные городовые. Лошади сытые. Застоялись. Копытами так и бьют. Городовые ждут часа, чтобы вылететь да нагайками начать хлестать. Только куда в такую толпу врезаться?! Мигом за штаны стянут. Красные знамена на площади. Красотища-то какая! А кругом переполох. В парикмахерской, что в здании управы, ставни закрыли: боялись, народ начнет отбирать помазки да ремни для наводки бритв... — Дарья Ивановна захохотала, вытирая слезившиеся глаза. — В доме, где располагались «Номера для приезжих господина Собинова», постояльцы распахнули окна. Магазины часов Эршке приказчик ставнями закрыл да закрутил на болты. Диво дивное! И самого господина Эршке, который обычно торчал у дверей с прокуренной трубкой, словно ветром сдуло. Приказчики стояли у закрытых лавок и охраняли, словно псы у будок. На площадь выкатили огромные бочки. И в трех местах заговорили ораторы о беспросветной жизни. Был среди ораторов и Отец. — Афанасьев. Тишина какая... Каждое слово сердцу

созвучно. С радостью и страхом все слушали речи, за которые раньше ждала Сибирь. Я передвинулась к тумбе. Тумба-то обклеена афишами музыкального зала. Шла опера «Жизнь за царя». Купчина тычет мне пальцем в афишу и кричит: «Вот куда смотрите, православные... Жизнь за царя нужно отдавать!» Тут фабричные вступились и режут ему: «Жизнь за народ нужно отдавать, а царя, кровавого Николашку, по кумполу...» Купчина за сердце схватился: «Городовой! Городовой!» Парни такие вежливые ему в ответ: «Не беспокойтесь, папаша, городской прийти побоится, а царя-то сбросим... Потерпим, потерпим да сбросим. Сам лучше к рабочим переходи, а то в Сибирь загоним!» — Дарья Ивановна, смелливая по натуре, вновь рассмеялась, видно, и сегодня она гордилась находчивыми и умными парнями. — И какие же речи говорили рабочие! Как верили в торжество идеи!

Голос Дунаева гремел на всю площадь: «Напрасно эти люди закрыли свои лавочки и магазины. Мы — не воры, не грабители, не жулики какие-нибудь, а честные рабочие-труженики, никогда не жившие на чужой счет или чужим трудом, всю жизнь свою мы содержим своим собственным трудом множество всяких эксплуататоров и дармоедов, праздных бездельников. Поэтому пусть эти закрывшие лавки и магазины люди не меряют нас на свой аршин, пусть они знают, что честные труженики — рабочие совсем не то, что они»...

Дунаев с Отцом дружил, мужик крепкий. Это он возглавлял партийную организацию на фабрике Бакунина, где первыми остановили станки и тем самым начали майскую стачку.

Ольга слушала Дарью Ивановну с большим вниманием. Хотелось понять суть событий, которые повлекли такие большие перемены в ее жизни, события, которые сорвали ее с обжитого места в Нижнем Новгороде, события, которые лишили ее семьи и любимого человека. Она была свидетельницей рассказов об Иванове Багаева

в Нижнем, скупых сообщений в официальных газетах и откровенных призывов к борьбе в нелегальной литературе, издававшейся за рубежом. И разговоры в поезде, и испуганные обыватели, у которых от страха глаза велики, и письмо Фрунзе, Трифоныча, человека мужественного, который, разумеется, не мог поддаться случайным настроениям, и позвавшим ее на работу в Иваново, — все говорило о политическом терроре. И усиленные наряды полиции в городе, и проводы ее друзьями на вокзале в Нижнем, слезы матери, уговаривающей отложить поездку, — все складывалось вместе и настораживало. Да, Иваново стал очагом опасности. Реакция повела наступление, и нужно всем честным и смелым людям объединиться и встретить грудью черносотенный вал. Ее потрясла мученическая смерть Афанасьева. Смерть Афанасьева видел и Фрунзе, Трифоныч — оказывается, он был среди рабочих.

Бесспорно, нет большего горя, чем видеть, как убивают друга, единомышленника, старшего товарища и во имя спасения жизни других подавить естественное желание броситься ему на помощь!

Ольга задумалась — могла ли она проявить такую выдержку? Трудно сказать, как поведет себя человек в критические минуты, — трудно, пока не попадет в такое положение. Только тогда и поймет, какие неизвестные душевные силы отзовутся в сердце.

И опять тикали ходики, выскакивала кукушка, да Дарья Ивановна продолжала свои рассказы.

Пожалуй, рассказ, затронувший Ольгу сильнее всего, был рассказ о том, как Лакин, рабочий, впоследствии убитый черносотенцами, читал стихотворение Некрасова «Размышления у парадного подъезда». Для Ольги, любившей Некрасова, смысл многих строк открылся заново. Дарья Ивановна читала проникновенно. Какая боль в словах, какая горечь за каждой строкой:

Выдь на Волгу, чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется —
То бурлаки идут бечевой!..
Волга! Волга! Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля —
Где народ, там и стон... Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснешься ль, исполненный сил,
Иль, судеб повинуюсь закону,
Все, что мог, ты уже совершил, —
Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил?..

И странное дело, многотысячная толпа затаив дыхание слушала грозные строки, — закончила Дарья Ивановна. — Вот она, сила слова! Как бы гордился поэт, если бы дожил до такого дня! Талант... Талант, который часто идет не только рядом с народом, но и впереди него.

Так и виделось Ольге, как стояли бородачи — ткачи с натруженными руками, подростки в картузах, напозавших на глаза, и затаив дыхание слушали стихи Некрасова. И слова капля за каплей, отлитые горем, падали на площадь. И восторженные возгласы, подобные урагану, пронесли над толпой. Многие не знали, кому принадлежали эти слова, чувство благодарности к поэту, высказавшему их боль с такой правдивостью, владело ими.

— А где же Трифоныч? — не утерпела Ольга, привыкшая не задавать лишних вопросов. — Хорош хозяин — позвал в гости, а сам... Поистине, приходите в гости, когда меня дома нет.

— Трифоныч в Шуге... — неохотно ответила Дарья Ивановна и, помрачнев, добавила: — Донесся слухок, что его там арестовали. Точных сведений пока нет, если к ночи не появится, то будем связываться с товарищами и узнавать правду.

Ольга погрустнела; жизнь в подполье лишает человека всякой уверенности в завтрашнем дне. В Петербурге, в канун 9 января, она рассталась с Фрунзе в спокойном состоянии и даже назначила свидание. И что ж? Утро она встретила в «Крестах»! А теперь Фрунзе написал ей в Нижний письмо — пригласил приехать, а сам, возможно, угодил в тюрьму...

— Вовремя вы приехали. — Дарья Ивановна старательно ополаскивала в чистой воде чашки. — Славно, что вы, Ольга, привезли оружие в эти ненастные дни... Отца убили потому, что у дружинников не было оружия! Случилась такая напасть... Коли были бы револьверы или бомбы, разве разрешили Афанасьеву идти на мостик? Дали дружинники бы залп, и рабочие ушли бы в лес.

— Да я без такого гостинца в Иваново и не поехала бы. В Московском комитете партии отговаривали от транспорта оружия, опасались всяких неожиданностей. Волков бояться — в лес не ходить. Вот и выпросила транспорт. Да и как людям в глаза смотреть, коли без оружия приедешь в организацию?! Что ж?! Я пойду на вокзал...

— Обожди, Ольга... Опасное дело идти за чемоданом с оружием. Как бы беды не случилось, — заохала Дарья Ивановна, ощущая неприятное покалывание в сердце. — Очень лютыми жандармы стали... Вчера у них два тюка с литературой увели из-под самого носа... Погоди, может, Трифоныч объявится... Все-таки мужской ум лучше...

— Да что ждать? — искренне удивилась Ольга. — Пока доберусь до вокзала, будет двенадцать часов — самый обед. И женщина из дамской комнаты может уйти... Придется новой все объяснять сначала. К тому же долгая задержка покажется опасной. Начнут любопытствовать... Я пойду... — Ольга поднялась решительно. — Пойду. Ждите, здесь близко.

— Времечко-то очень нехорошее... «Ждите!» —

Дарья Ивановна повторила с некоторой ворчливостью. — Ты, Аннушка, иди с Ольгой. Человек она приезжий и порядков толком не знает. Поможешь... В случае беды — выручишь...

Анна с готовностью кивнула головой и быстро стала натягивать пальтишко с облезлым заячьим воротником. И думать нельзя, чтобы Ольга одна пошла бы за чемоданом с оружием! И к тому же она знает каждую собаку в городе и вокзал как свои пять пальцев.

В комнате установилась напряженная тишина. И опять, как всегда при серьезных обстоятельствах, казалось Ольге, забили, застучали, заторопились ходики. И кукушка с тревогой прокуковала и вскочила в домик, поспешно закрыв красную дверцу.

— Ну, идите! — сказала Дарья Ивановна и удивилась, почему ей так не хочется, чтобы эта малознакомая девушка шла бы на вокзал, неясное предчувствие беды теснило грудь.

Ольга смотрела на нее. И Дарья Ивановна ее запомнила. Огромные глаза в густых ресницах. Вьющиеся волосы выбивались из-под оренбургского платка и обрамляли высокий лоб. Брови черные вразлет и сросшиеся у переносицы. Румяные щеки. Губы едва припухшие. Пальто, отороченное мехом, застегнула на крючок. Коса толстая, ниже пояса. Русская красавица из сказки. Дарья Ивановна думала, какое счастье, коли такая красота уживается с душой.

— Ай да дивчина! — не без восторга произнес Черников. Глядел он и не мог наглядеться на девушку. Сидел молча, не вступая в разговор. И что сказать? Раскрасавица... Нет, таких в революцию и пускать не след — сразу жандармам в глаза бросятся. Именно о таких и Некрасов писал... Не в силах сдержать волнения продекламировал:

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,

С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц, —

Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет — словно солнце осветит!
Посмотрит — рублем подарит!»

Черников любил стихи, на сходках их декламировал товарищам, знал чуть ли не всего Некрасова на память. Ольга произвела на него большое впечатление — и внешностью, и образованностью, и простотой. И ему хотелось сказать какие-то прекрасные, неповторимые слова. И лучше слов Некрасова ничего придумать не мог.

— Ну, муженек, иди-ка за девушками да посмотри, как они будут на вокзале чемодан брать... Только помни — вмешиваться в происходившие события не можешь... Права не имеешь... — Дарья Ивановна поймала в глазах его неудовольствие и строго заметила: — Это партийное задание... Смотреть и доложить, как все произойдет. — И в сердцах добавила: — Что это я, как кликуша, чего-то жду, накликаю... Все будет хорошо... Иди на прикрытие... А потом все вместе пообедаем... Да, и стража нашего пора сменить — чай, промерз на дворе-то...

ОЛЬГА ГЕНКИНА И РОТМИСТР ЛЕВЕНЕЦ

Иваново-Вознесенск. Ноябрь, 1905 год

День сиял. Солнце стояло высоко, и яркие лучи слепили глаза. На стенах домов и заборах проступала изморозь. В солнечных лучах она отсвечивала, напоминала парчу. Раскачивались вершинами деревья, припорошенные снегом, под напором ветра. На ветвях березы прилепились комочки снега, и береза напоминала вербу в цвету. Прыгали синицы по ветвям. С зеленой грудкой. В черном жилете с белоснежными перышками у глаз.

Даже домишки вдоль Крестовоздвиженской улицы,

поразившие Ольгу своей убогостью, преобразились в лучах солнца. И яркий свет, и деревья в снежном узоре, и добрый мороз, и снег, поскрипывающий под ногами, — все радовало Ольгу Генкину.

У нее было то счастливое настроение, которое наступало каждый раз, когда предстояло сделать что-то важное и решительное. Волнение, связанное с доставкой оружия в незнакомый город, улеглось. Она уже несколько часов провела в этом городе. Познакомилась с таким прекрасным человеком, как Дарья Ивановна. Ольга имела редкостную особенность влюбляться в людей с первого взгляда. Остался последний эпизод — взять на вокзале чемодан, а там Анна Князева, которая так же ей искренне понравилась, подзовет извозчика — и поминай как звали. Судя по настроению Дарьи Ивановны и зная неустрашимый характер Фрунзе, арестовать его, конечно, не могли. И эта приятная встреча должна состояться. Главное — благополучно доставить оружие. Она узнала много нужного об обстановке в Иванове, и то, что раньше рисовалось как нечто неизвестное, заполненное злодейством, предстало реальностью с прекрасными людьми и трудностями, вполне преодолимыми. При том количестве людей, посланных Московским комитетом партии в город, при той помощи оружием и литературой, полученной ивановцами, при тех бойцовских качествах самих ивановцев сомневаться в успехе не приходилось. Как человеку чистому и непосредственному, ей уже были дороги и Дарья Ивановна, и молчаливый ее муж, который с удивительным хладнокровием охранял явку, и Анна Князева, оказавшаяся без работы. Все светлое и разумное поднялось в ней против мракобесия, зла и насилия. И она искренне радовалась, что удалось попасть в этот город со славными революционными традициями. Взяла под руку Анну Князеву и, улыбнувшись, перешла через дорогу. У лавки купца Афанасьева, разбросавшего по городу магазины готового платья, остановилась. По привычке хотела провериться. Слава богу, никого

подозрительного. Ба, да это Черников... Идет торопливо, озабоченно. Стараются догнать девушек, да так, чтобы не вызвать подозрения. Делает вид, что с ними незнаком. Он также остановился у витрины с мужским платьем. Поглазел на господина в цилиндре с растопыренными руками. Сначала Генкина хотела его окликнуть, но, привыкшая в подполье к дисциплине, не посмела. Лишь улыбнулась в воротник от предусмотрительности Дарьи Ивановны, показавшейся ей в данном случае ненужной.

Против ожидания Черников был серьезен и даже не ответил на лукавый взгляд Князевой.

Князева попала под обаяние Генкиной. И ее ослеплял сияющий день, и доброе настроение малоизвестной спутницы, к которой испытывала доверие, и Черников, сосредоточенный и неуклюжий, и невозможность выплеснуть радость наружу — все доставляло удовольствие и ощущение легкости, которое, наверное, и называется счастьем.

Анна Князева ничего особенного не видела в том, что нужно забрать на вокзале чемодан из дамской комнаты. Нужно — значит, нужно! Она и раньше выполняла подобные задания. Правда, оружие по городу не разносила — с оружием было крайне неблагополучно, но литературу, прокламации, устные сообщения — постоянно. И радовалась, что оружие появилось в Иванове. Оружие позволит удержать погромщиков от безобразий. Оружие придает силу... Четыреста патронов — цифра, казавшаяся громадной, — не только необходимы, но многим спасут жизнь. Ей глубоко были противны молодцы из черной сотни, с сильными голосами, с распухшими от драк и пьянства физиономиями, сквернословящие, в красных рубахах, с бородами-лопатами, размахивающие иконами и крестами, словно картонными картинками.

Конечно, Дарья Ивановна не разрешила бы идти девушкам по городу рядышком; вспомнила бы о законах конспирации, но сегодня это показалось бы Анне негостеприимным. Идти на расстоянии и делать вид, что ты

незнакомка с таким человеком, как Ольга? Гм... В душе она одобряла поведение Ольги. Конечно, у старых людей — с высоты своих восемнадцати человек в сорок лет казался стариком — чувство осторожности чересчур развито. В жизни нужно шагать по мостовой, да и то по самой середине!

Черников также испытывал сложные чувства. Он не понял Дарью Ивановну. Идти на вокзал, чтобы помочь девушкам получить чемодан, — это нужно. Он-то хорошо знал, сколько тянут десять револьверов и четырех патронов. Но идти крадучись, разыгрывая человека чужого, такого наблюдателя, который ни при каких обстоятельствах не должен показывать своего отношения к девушкам, — смешно. Можно девушек оскорблять, не выдавать чемодана, а он должен делать вид, что с ними незнаком и на вокзале оказался случайно. Деладелишки... В том, что ничего серьезного произойти не может, и он не сомневался. Дело с доставкой двух тюков литературы было куда посложнее. Шпик взял парня под наблюдение в поезде, да и тюки не малые, и жандармы обратили на них внимание. Жандармы сразу остановили парня у вагона, велели его проводникам караулить, а сами побежали за старшим. И в этот момент подкатила тройка, и на нее погрузили тюки. Так и осталась в памяти ошалелая физиономия жандарма, спешившего по перрону и придерживающего пашку. Вот какие случаи-то бывали! А здесь все благополучно. Тихо и мирно. Приехала девушка, сдала чемодан и пошла побродить по городу... И в двенадцать часов, не возбуждая подозрения, приходит и забирает свой чемодан...

Времечко хорошее. День-то какой благодатный! Да и девушка благополучная. Интеллигентная. И внешность располагающая. Кому придет в голову мысль об оружии? Приехала, оставила вещи, нашла знакомого, и пожалуйста вещи обратно... Все тихо, благородно...

И Черников искренне жалел, что ему было нельзя идти рядышком и, посмеиваясь, слушать интересные

истории из столичной жизни. Конечно, он немного свершил в жизни. Работал, боролся... Был среди рабочих, которые вместе с Отцом шли освобождать политических из тюрьмы. И никогда не забыть просветленного выражения, промелькнувшего на лице Афанасьева, когда он вместе с нелегальным, имени которого никто не знал, сделал эти роковые шаги к мостику. Черников понимал, что в это время все решает смертельная схватка, — третьего не дано! Как Ольга переживала рассказ о смерти Афанасьева! Как изменилось ее лицо! Сколько боли в глазах! И какое отчаяние! И слова сказала многозначительные: «Он свою смерть знал...» И все это без позы и с такой искренностью. Хорошая девушка... Удивительно хорошая...

Так и шли они маленькой группкой. Впереди девушки, доверительно разговаривающие. Аннушка поскользнулась на обледеневшем тротуаре и вскрикнула. Ольга поддержала ее. По ее сильному и спокойному движению Черников понял, что Ольга в трудности не растеряется.

На привокзальной площади суета. Прибыл поезд из Москвы, и площадь кричала разноголосицей. И опять протискивались, пригибаясь в коленях, крючники с огромными тюками хлопка. Шнырял мастеровой в стоптанных валенках, неся на плече палку с башмаками. Голосили детишки, закутанные по самые глаза платками. Им ловко отвешивали подзатыльники матери.

Ольга смотрела на знакомую вокзальную суету. И обрadowалась этой кутерьме, надеясь, что так будет легче скрыться. По сравнению с утром, когда прибыл поезд, поражало новое обстоятельство — обилие пьяных лиц. Босяки, грузчики, крючники, мелкие лавочники, приказчики горланили и, покачиваясь на ногах, на чем свет поносили деревенских увальней. Шумел пьяными головами трактир Митрофанова, расположенный напротив вокзала.

Анна выразительно посмотрела на трактир Митрофанова и тихо сказала:

— Черносотенец. Темный народ сивухой задаром угощает да натравливает на рабочих и интеллигентов. Активист из черной сотни... Да тут и сам весовщик Кашин... И пьяный как сапожник. — И, наклонившись к Ольге, сказала: — Страшная личность этот Кашин... Вместе с графом Бобринским был в депутации в Царском Селе и слушал «милостивые» слова, призывающие к устранению смуты в Российской империи. Считает себя наместником царя на ивановском вокзале. — И, передернув плечами, не без отвращения повторила: — Страшная личность... Мне всегда нехорошо, когда его вижу.

— Явный прохвост, — медленно ответила Ольга, — только не огорчайтесь — хороших людей на свете больше. На этом стояла и стоит земля. Я верю в это и боюсь, чтобы добро восторжествовало. И оно восторжествует. Конечно, бывают дни, когда солнце закрывается тучами. Но даже в народной песне поется: «Все равно весна придет — все равно растает лед». А в этом глубокий смысл! Весна придет... Придет...

И Ольга улыбнулась одной ей понятным мыслям. Улыбнулась и Анна.

Вокзал надвигался зеленоватым островком. Народ, вывалившийся на площадь, схлынул. Разъехались извозчики, малиновым звоном звонили колокольцы господских троек, расползлись на конках пассажиры с непременными узлами. Площадь опустела. Только раздавались пьяные голоса из трактира. На резное крыльцо вывалился и сам Митрофанов, громадный человек, с большим животом, с красным и потным лицом, в жилете и при часах. Он ругательски ругал полового. Тот почтительно выслушивал наставления хозяина. Митрофанов упивался властью, громко и зло, выговаривая провинившемуся половому.

«Да, неприятный тип, — подумала Ольга, невольная свидетельница этой сцены, — все напоказ, все на публику... Все человеческое убивает... — Многозначительно

переглянулась с Аннушкой. — Здесь правы купеческие, почти по Островскому...»

И все же яркий солнечный день погасил раздражение. Девушка провела рукой в варежке по кустарнику, усыпанному снегом. И засмеялась поднявшемуся снежному облачку. Солнце бросало яркий, ослепляющий свет на вокзал. Башенка со шпилем. Гипсовые цветочницы под шапками снега. Кустарник и липы, разукрашенные изморозью. Воздух опьянял свежестью и горьковатым ароматом ядреного морозца.

Ольга чувствовала в груди силы необъятные и шла, придерживая Князеву под руку. Князева прижималась к Ольге. Первым человеком, встреченным на вокзале, был усатый жандарм, который, как показалось, с исключительной внимательностью оглядел ее. Объяснив этот взгляд привычной настороженностью, Ольга двинулась к зданию вокзала. У багажного вагона с раздвинутыми дверцами толкались крючники.

Через несколько шагов у входа в помещение третьего класса увидела другого жандарма, который также с неослабным интересом смотрел в ее сторону. Да, однако... Интерес жандарма был столь откровенным, что объяснить его мнительностью не могла. Рядом с жандармом торчал носильщик. Тот самый, кто доставлял чемодан в дамскую комнату. Сердце забило от недоброго предчувствия. Случайность? Вряд ли... Как велика опасность?.. Очевидно, хотят проследить, что за человек эта приехавшая. Тогда можно спасти чемодан, скрыться на извозчике, чтобы под покровом ночи ввалиться к Дарье Ивановне. И не в таких переделках бывала! Первой мыслью было вывести из игры Аннушку. Ольга сделала несколько быстрых шагов от девушки, но та, поняв опасность и упрямо сжав губы, взяла ее под руку. Нет, она не собиралась отказываться от знакомства с Ольгой. Анна не уподобится крысе, первой бегущей с тонущего корабля.

Ольга вышагивала, испытывая чувство, словно она

голыми ногами ступала по раскаленному железу. И лихорадочно думала: «Повернуть назад? Бежать?» Но тогда вызовет большее подозрение, и на пустой платформе ее поймут жандармы, да полупьяные крючники помогут. Пройти мимо жандарма и артельщика... Что ж? Но пропадет чемодан... Коли чемодан надолго останется в дамской комнате, то его вскроют. На что решиться? Пытаться спастись? А если все не так серьезно и у нее сдают нервы, тогда чемодан с оружием (с оружием! — при этой мысли Ольга едва не начинала кричать!) будет брошен. В партии оружие на вес золота. Выполнить самую трудную часть задания — привезти оружие в Иваново и бросить... Оружие — добыча охранки?! Нет, нет...

Все ближе и ближе она подходила к жандарму и носильщику... К добру ли... Лицо ее бесстрастно. В поведении жандарма напряженность и выжидательность. Скосив глаза на Анну Князеву, она увидела, как та побледнела. Но идет рядом и явно на нее надеется. Ей одной думать, с нее и весь спрос. И все же... Нет, не может она бросить чемодан с оружием. В первопрестольной какое скопление жандармов, словно галки на вершинах берез перед закатом, — и все же сумела провезти чемодан. Но как объяснить это виноватое выражение лица у носильщика? Очевидно, не привык к доносительству. К доносительству? Нет, об этом рано говорить — такие обвинения просто не бросаются. Ольга оглянулась и увидела Черникова. Бледного. С маской вместо лица, замершего у доски с расписанием прихода поездов. Хорошо, что на него никто не обращал внимания! Глаза его кричали — позднее она их вспоминала — кричали об осторожности, кричали об опасности. Что делать? Что делать?

Самообладание, не покидавшее в трудные минуты, удерживало от необдуманных поступков. Нет, она не заторопилась, не повернула назад и не проявила беспокойства. Шла легкой и размеренной походкой. Жандарм и носильщик приближались. Князева шагала рядом и по

злomu и решительному блеску в глазах Ольга поняла, что готовилась разделить ее судьбу. Или не понимала глубины опасности в случае провала?! Нет, конечно, понимала — святое чувство товарищества превыше всего. На миру и смерть красна!

Ольга повернула к двери, ведущей в зал ожидания, и жандарм метнул взгляд на носильщика. Его по фамилии называла женщина в дамской комнате, когда принимала чемодан на хранение. Морозов... Морозов... Припомнила его фамилию Ольга.

И Морозов, боясь встретиться взглядом с девушкой, кивнул жандарму головой. Жандарм приосанился, словно разбук, и сделал шаг наперерез. В эту же минуту другой жандарм, которого скрывала дверь, появился в проходе. Быстро обошел девушек, отрезая им путь к отступлению.

— Это вами оставлен чемодан на хранение, барышня? — напуская солидность и не умея скрыть волнение, спросил жандарм. Шея его покраснела. Глаза сузились. Маленькие. Колючие.

Ольга молчала. Князева недоуменно пожала плечами.

— Они-с велели сдать чемодан... Они-с... — послышался тихий с придыханием голос носильщика. — Не извольте утруждать себя, дамочка... Это вы мне приказали взять вещицы и заплатили серебром... Да-с, серебром за то, что доставил в сохранности чемоданчик, а сами решили погулять по городу-с...

Ольга смерила его презрительным взглядом — каков подлец! Мало того что наверняка доложил о чемодане в полицию, он выставлен теперь и в качестве свидетеля! Где границы человеческой подлости? И она потеряла интерес к нему. Единственным желанием было спасти Князеву. Под ее требовательным взглядом та попятилась — да поздно. Широко расставив ноги, стоял тот, другой жандарм. С висячими усами. Грузный. С одышкой. Заложил руки за спину и словно врос. Страж за-

кона готов умереть на месте, но не пропустить крамольницу!

Теперь по вокзалу двинулись процессией — впереди семенял носильщик, с лица которого не сходило жалкое выражение. Он услужливо показывал комнату, куда следовало пройти барышням, за ним — Генкина и Князева и замыкали — два дюжих жандарма. Они хрипло кричали на оторопевших пассажиров.

— Сторонись! Сторонись!

Народ расступался. С состраданием смотрели пассажиры на девушек, скромно и прилично одетых, которых вели с такой поспешностью и непонятной осторожностью.

Жандармы действительно боялись девушек. В том, что задержали террористок, сомнения не было. У каждого раскрыта кобура маузера и испуг на лице. Больше всех волновался Морозов. Ему приказали идти первым — злоумышленниц вели к жандармской комнате, расположенной в зале третьего класса. Зал заполнила простая публика — бабы с детьми, мужики. Около жандармской комнаты застыл Черников, непонятно каким образом обошедший процессию и очутившийся впереди. С трудом сдерживал себя. На лице горе. И если бы не гневный взгляд Ольги, то бросился бы отбивать девушек. Генкина едва заметно покачала головой. Действительно безумие. Вокзал переполнен полицией, крючниками, черносотенцами, разгуливающими в подпоясанных с белыми повязками на рукавах. Забьют и его и девушек...

Черников был страшен. Как больно смотреть, когда уводят друзей, и как ужасно, что ты им не можешь помочь! И в глазах Ольги поймал благодарность. А положения своего он и врагам не пожелает. Муку и боль сохранит на долгие, долгие годы...

Дверь жандармской комнаты распахнулась и, пропустив процессию, закрылась. Но ненадолго. Вахмистр что-то прокричал, и носильщик Морозов появился в дверях. Начал выкликать фамилии:

- Билетного кассира Елисеева...
- Нарядчика Чернышева...
- Буфетчицу Лебедеву...

Ольга села на диван, стоявший в углу, и с тоской смотрела на чемодан. Чемодан на столе у вахмистра. Пуговицы парусинового чехла застегнуты неровно. Значит, чемодан вскрывали. То-то петухом держится вахмистр!

Анна Князева размотала платок и расстегнула жакет. Лицо покраснелось и от волнения, и от жаркой печи, в которой потрескивали дрова. Что за чемодан стоит на столе? По нервному покашливанию Ольги и по беспокойному взгляду было ясно — дела плохие.

Вахмистр откинулся в креслице с деревянными подлокотниками и в упор разглядывал девушек. Приосанился, расправил плечи и приказал не закрывать дверь. С какой целью, Ольга не поняла. Говорил преувеличенно громко, словно имел дело с глухими.

— Значит, явились за чемоданчиком, барышня? Приехали с московским поездом и чемодан оставили в дамской комнате? Носильщиком был некий Морозов... — Встал, походил по комнате, тесной, задавленной печью, диваном и столом, и, потирая руки, остановился около Ольги. — Сейчас произведем вскрытие вашего чемодана. Сделаем в присутствии понятых-с... Это для того, чтобы не вздумали отпираться. Может быть, изволите сказать заранее, что в чемодане? И куда такой груз доставляли?

Теперь вахмистр Ганыкин сидел за столом, водрузив на нос очки в черной оправе. Раскрыл папку для бумаг и пробовал перо, проводя по коротко стриженным волосам. Написал официальную папку допроса и вывел число и месяц:

— Фамилия? Имя? Отчество? Место и время рождения? Сословие? Где изволите проживать? — Вахмистр понимал, что дело с доставкой оружия будет громким, что за него — и чины и награды. Допрос нужно снять по всей строгости закона. Он и понятых вызвал, и дверь

распахнул, чтобы не делать секрета из такого чрезвычайного обстоятельства. И очень был доволен, что ротмистра Левенца, карьериста и любителя выставить себя героем следствия, нет — ротмистр изволил быть в служебное время на охоте-с! Уж эти господа! Все-то им позволено. Значит, весь почет ему, вахмистру Ганыкину. Сейчас придут понятые, и тайное станет явным. Нужно, чтобы и девица чувствовала, что дело ее в руках не новичка. Искоса бросал взгляд на девушку, ту, сошедшую с московского поезда, и понимал, что главное зло не в мешаночке, которая непонятно зачем в такое дело влезла, а в этой барышне. А что одета просто, так его, старого воробья, не проведешь на мякине! Барышня и есть барышня.

Ольга с удивлением взирала на немолодого тучного вахмистра, готовившегося с торжественностью изобличить ее в недозволенном. Наверняка реванш берет за что-то! Ах да, у Дарьи Ивановны говорили, что вчера на вокзале транспорт с литературой из-под самого носа увели. И улыбнулась — как его славно облапошили!

Вахмистр насупился — странный народец! Ее поймали за руку, поймали с поличным, и, пожалуйста, смешки. Посмотрим, голубушка, как запоешь дальше.

— Значит, снова спрашиваю — будете ли отвечать на вопросы властей? — Он сидел грузный и злой, положив локти на стол и задыхаясь от волнения. Птичка-то важная. И не раз бывала в подобных переделках. Наверняка и в столице допрашивали. Пускай не думает, что лыком шиты, дело знаем и обхождению имеем. — Вы обязаны отвечать на вопросы, предложенные следствием.

— Следствием?! Вот как... Торопитесь, господин вахмистр... Возможно, до следствия дело не дойдет, а все закончится простым дорожным недоразумением. — Ольга насмешливо скривила губы, хотя понимала, что дело ее плохо. Но вид жандарма, тайком вскрывшего чемодан и устраивающего с непонятной целью комедию, вызывал в ней чувство протеста. — Чемодан на хранение я сдавала

в дамскую комнату, а не в жандармскую! В Иванове порядки прелюбопытные: сдашь вещи в дамскую комнату, а получаешь у господ жандармов...

— Все зависит от того, какие вещи сдаете!

— Разве вам известно, какие вещи я сдала на хранение? Станные, очень странные порядочки в Иванове... — Ольга посмотрела на носильщика и спросила: — Милейший, вы доставляли мои вещи в дамскую комнату, поскольку нет на вокзале камеры хранения... И вдруг стоите рядом с господином жандармом и указываете на меня пальцем? Помогаете доставить меня в эту комнату и вместе со мной прихватываете на всякий случай какую-то женщину, оказавшуюся на вокзале. — Ольга с удивлением посмотрела на Князеву и отодвинулась от нее. — Главное, хватать и не отпускать — следствие во всем разберется...

— Я этой дамочки, — носильщик вытер вспотевшее лицо рукавом и кивнул на Князеву, — не видел... Они и с поезда не сходили, и к чемодану отношеница не имеют...

Морозов чувствовал себя неуверенно — действительно, в доносчиках не бывал, почему нужно было задерживать эту неизвестную девушку, тоже не понимал. Так любого хватай да веди к жандармам. С виду тихонькая, серая уточка, и почему ее нужно привязывать к столичной, бедовой?

— Молчи, дурак... Молчи, коли бог ума не дал... — Вахмистр постучал пальцем по лбу и потом — по крышке стола. — Проклятая деревенщина...

Морозов покраснел от обиды. Двери комнаты распахнуты настежь, и почему его нужно перед всем миром выставлять на посмешище?

И действительно, в комнату набился разный народ — и пьяные крючники, и оборванцы из завсегдатаев трактира Митрофанова, и бродяги с испитыми лицами. И его, степенного семейного человека, подняли на смех. Как все лихо у вахмистра получается — и дурак, и дере-

венщина, словно сам был фабричной косточки. Пришел в город из той же деревни Голодная да только годом раньше. Морозов не мог податься на службу в жандармерию, видя, как бьют да терзают там рабочего человека. С тех пор их пути разошлись — вахмистр наедал пузо, голос его приобретал барские нотки, становился важным, недобрым. Он и по лицу человеку заедет, и его, односельчанина, деревенщиной да дураком обзовет...

— Не откажите в любезности, барышня, и ответьте, что находится в чемодане? — Вахмистр любовно поглаживал чемодан и не спускал глаз с Генкиной... — Да и кому такой подарок везете?

Ясно, содержимое чемодана известно вахмистру не хуже, чем ей самой. И за понятыми послал — значит, будет делать опись по всей форме. Плохо, тюрьмы не избежать — вот и поработала в Иванове! Только не раскисать... Посмотрим еще... И снова не раскисать, как-нибудь выкрутимся... Надежда последней оставляла человека — в этом Ольга убеждалась много раз. И новая заботушка: как спасти Князеву? За что она попадет в тюрьму? Возможно, Князеву не арестуют — запишут адрес, а в случае суда будут таскать как свидетельницу. И носильщик подтвердил ее непричастность к чемодану. Станный человек... И что старается?! Какая корысть?! И глаза отводит — видно, еще стыд не потерял. Темен, ох как темен народ!

— Почему задержали незнакомого мне человека? — подняла голос Ольга и отчужденно посмотрела на девушку, сидевшую рядом на скамье. — Хватают на вокзале человека... Пристраивают его к другому... Так стряпают дельце... Беззаконие! Беззаконие! Я не знаю этой девушки и в городе — человек новый.

— Новый... Новый... — Вахмистр и сам не знал, откуда появилась эта девушка, с виду работница. Может быть, прихватили зря — и Морозов говорил, что москвичка приехала одна и никто ее не встречал, но он был служака старой школы и твердо верил, что лучше

взять десять невинных, чем упустить одного виноватого. Возможно, и правда эта фабричная ни при чем, но скорее всего шла на помощь — кто их там разберет. Ясно одно — отпустить преждевременно. Пока посидит — ничего не случится, там видно будет... Вот господин ротмистр явится и решит...

В комнату бочком вошли понятые. Буфетчица Лебедева, немолодая разбитная женщина. С любопытными глазами. И сожженными от частой завивки волосами. Нарядчик Чернышев. Старый. Угрюмый. С бородавкой на носу. С сердитыми глазами. Он не понимал этого вызова в жандармскую комнату и на всякий случай перебирал прегрешения. Был он тертый калач, продавал по дешевке краденое. И лихорадочно думал, какая бестия его заложила. Увидев незнакомых женщин, успокоился и равнодушно стал ожидать развития действия. Последним был кассир Елисеев. Худой. Чахоточный человек. С испуганными глазами. С лихорадочным румянцем, вспыхивающим при волнении. Жил он с многолетней семьей, со злой и сварливой женой. Вечно боялся недостачи, увольнения и голодной смерти. Вызова испугался и долго не мог понять, почему именно его позвали в жандармскую комнату. И девушек, сидевших на скамье, было жалко. На воровок не похожи, на хулиганок — и подумать страшно. И тревожное любопытство раздражало его.

— Незвестная, которая отказалась назвать свое имя и фамилию, я к вам обращаюсь. — Вахмистр водрузил очки и спросил грозно: — Что находится в чемодане? Кто вы такая?

Ольга молчала. И лицо было непроницаемым. Спокойным движением размотала платок и положила на плечи. Ни волнения, ни нервозности, ни нарочитости.

И если бы вахмистр собственноручно не вскрывал бы чемодан ножом, если собственными глазами не видел смит-вессоны, если бы своими руками не ощупывал патроны, то искренне считал бы, что произошла ошибка.

— Имя? Фамилия? Что в чемодане? — Вопросы следовали, как выстрел в ночи, резкие и сухие.

— На вопросы, кои считаю незаконными, отказываюсь отвечать! — Ольга презрительно оттопырила губу и задумчивым взглядом посмотрела куда-то вдаль.

Была она чудо как хороша. Огромные глаза излучали тепло. Пушистые ресницы придавали взгляду таинственность. Нежный овал лица. И эта доброжелательность, мягкость, проступающая в каждой черточке лица. Сосредоточенная, задумчивая, словно ей одной известна правда. Молчала. И только виноватый взор, осторожно брошенный на Князеву. Как случилось, что она не отказалась от девушки? Зачем взяла? Собственную опасность заслонило чувство вины перед Князевой. Бывают такие глупые случайности, да и как одной дотащить чемодан? Конечно, ничего серьезного с Князевой не может случиться, но взяла ее на вокзал опрометчиво. Сильный человек всегда винит себя одного.

Между тем события развивались своим чередом. Вахмистр оказался докой и большим мастером на подобные дела. Ольга смотрела на него не без удивления — как это она сразу не распознала? Век живи — век учись!

— Попрошу к столу понятых, — вахмистр скосил глаза и поправился, — господ понятых.

Против ожидания чехол на чемодане оказался едва застегнутым на две пуговицы. И вахмистр его сорвал шутя. Потом достал из стола приготовленный нож и легко поддел замок. Пружинка звякнула, и с легким звоном отскочил язычок замка. Вахмистр осторожно отвел дужку и, словно иллюзионист, распахнул чемодан. Когда-то маленькую Ольгу с сестрами родители водили в цирк. Иллюзионист в черном плаще и черной маске заученным театральным движением раскрывал дверцу чемодана, и оттуда вылетала птичка. Правда, у вахмистра птички не

вылетело. Поверх вещей, нескольких пар белья, полотенца и нижней юбки лежала маленькая подушечка, из тех, которые обычно брали в дорогу. Подушечка принадлежала маме, и Ольга любила ее брать с собой. Наволочка в мелкий горошек.

Князева вытянула шею, чтобы заглянуть в чемодан, и с облегчением вздохнула. Обыкновенные дорожные вещи! Да и у всех, кто находился в комнате, вещи удивления не вызывали. Только Ольга с тоской смотрела, как опустошается ее чемодан. Ночная кофточка... Нижняя юбка...

Носильщик Морозов крикнул и снял шапку. Полные щеки дрожали. Жандармы, сонные и безразличные, ждали, что будет дальше. Они не понимали, почему им пришлось задержать этих девиц. Впрочем, начальству виднее.

— Последний раз спрашиваю, что находится в чемодане, — спрашиваю, жалеючи вас, барышня! Ибо только чистосердечное раскаяние может облегчить участь, как и добровольная помощь следствию, — вахмистр с трудом произнес тираду, которую подслушал у господина ротмистра Левенца. В душе считал его ученым человеком. — Чистосердечные признания, которые помогут следствию и облегчат вашу участь! Подумайте, прежде чем отказаться! Второй такой возможности не будет. Такая молодая, а последствия ждут страшные... Сами понимаете...

Ольга, прищурив глаза, молчала. Вахмистр-то из новоявленных психологов — велеречив и голос вкрадчивый...

Вахмистр сделал несколько шагов от стола, давая возможность женщине одуматься. Факт преступления был налицо, но хотелось и организацию раскрыть. А в том, что в Иванове существовала строго законспирированная большевистская организация, сомнения не имелось: вот бы сюрприз для господина ротмистра — и барышню московскую задержал, и показания вынудил, и

нити к организации нащупал... Тщеславным вахмистр оказался человеком!

— Значит, от возможности облегчить свою участь отказываетесь... Зря... Очень даже зря... — Вахмистр обвел глазами толпу, набивающуюся в комнату, привлеченную и громким голосом, и появлением понятых. — Ты, братец, пиши протокол, — обратился он к писарю. — Вот и посмотрим, что хорошенькие барышни возят в чемоданах...

Вахмистр заученным движением снял полотенце. Матовым блеском зачернели смит-вессоны, уложенные плотно один к одному и освобожденные от газет. Толпа ахнула. Придвинулась ближе к столу. Вахмистр поднял над головой смит-вессон, осторожно развернул промасленную бумагу. И по одному стал выкладывать оружие на стол. Один... Два... Три... Руки его сдергивали промасленную бумагу и обнажали муарово-черный смит-вессон. С оттопыренной барабанной коробкой. И слепыми стволами. С застывшими курками. Четыре... Пять... Шесть... Достал коробки с патронами и, аккуратно сложив, отодвинул в сторону. И опять считал револьверы. Семь... Восемь... Девять... Десять...

— Ну и барышня! Десять револьверов в одном чемодане! — зло прокричал весовщик Кашин, в числе первых очутившийся в жандармской комнате. Он отстранил рукой жандарма с усищами и уставился холодным взглядом на стол, заваленный оружием и патронами. — Револьверы... Револьверы...

И Кашин покрутил головой, словно отгоняя тяжкие мысли, и бросил оценивающий взор на Генкину.

— Писарь обязан по всей форме написать протокол об изъятии оружия... Значит, десять револьверов! — Вахмистр наклонился в сторону понятых и, насладившись эффектом (понятые сидели изумленные), приказал: — Пиши... Пиши... Пойдем дальше — посмотрим, что там еще в чемодане...

Толстые руки с короткими пальцами извлекали на

стол коробки патронов. Складывал в стопку. Аккуратную. С подровненными краями. Стопка большая. Коробки складывали осторожно, будто опасаясь взрыва. Вахмистр, как человек военный, понимал, что взрыва произойти не может, но ему хотелось нагнетать атмосферу страха и вызвать у окружающих неприязнь к задержанным. И потому старательно перебирал вещицы в чемодане, пальцы его вздрагивали. Вахмистр искал бомбы. Револьверы... Патроны... Значит, есть и бомбы. Македонки. Их недавно показывали в охранном отделении. По его напряженному лицу присутствующие поняли, что опасность грозит великая. И сразу разнеслось по вокзалу — бомбы... Конечно, на дне чемодана запрятаны бомбы...

Наступила напряженная тишина. Люди отшатнулись от стола, и стал виден и писарь, старательно выводивший закорючки, и жандарм с трясущимися руками, и девушки с невозмутимыми лицами. Бомба... (Теперь он был согласен на одну.) Бомба, запрятанная на дне чемодана, будоражила умы. У Кашина отвисла челюсть, и в тяжелом взгляде, который он кидал на сидевших на скамье девушек, была злоба.

Наконец вахмистр поднял пустой чемодан и облегченно вздохнул — бомбы не оказалось. Правда, некоторого разочарования он не мог скрыть. Впрочем, бог с ней, с бомбой, — могла так шарахнуть, что и кусков бы не собрать. Воображение так явственно нарисовало картину разорвавшейся бомбы и собственной гибели, что он невольно перекрестился. Следом за ним перекрестился и Кашин. Потом жандармы. Босяки. И напряженная тишина сменилась раздражением и громом криков и угроз.

— Бомбу... Бомбу куда запрятала... — бросился к Генкиной Кашин. — Да и для кого привезла револьверы-то? Для кого? — Он рванул ворот рубахи и обнажил волосатую грудь. — В нас, слуг царя и бога, будешь, поганка, стрелять?! А?!

И опять ругань, крики, угрозы, словно буря редела

в ненастный день. Кричал Кашин... Кричал жандарм, тот, который задержал Генкину на перроне. Кричала буфетчица Лебедева, заламывая руки, и подбежала к Генкиной. Билетный кассир Елисеев сжался от испуга и ожидал взрыва бомбы. Его не убедило, что бомбу не нашли, — должна быть, и в этом не могло быть сомнения, только припрятала ее хорошенько, и взрыва не миновать, а по сему случаю следовало вести себя осторожно. Он втянул голову в плечи и бочком-бочком протискивался к двери. Кричала Полякова, чувствовавшая себя героиней, именно она заставила Морозова сходить в жандармскую комнату и поднять тревогу с чемоданом. А то бы этот увалень раскачался — держи карман шире! Голосила простоволосая баба, проклиная социалистов. Обстановка психоза и страха витала в комнате, подобно черным лебедям, на своих больших и размашистых крыльях принесших несчастье. Потрясал кулаками мужик в драном армяке. Носильщик Морозов старался попасть в поле зрения вахмистра. Ишь, паскуда, оружие везла, а он-то жалел ее. Думал, барышня такая хорошая, обходительная, а она, змеюка подколодная, врагиня общества. Он уже забыл, что видел оружие при вскрытии чемодана, и упивался гневом.

— Приступим к подсчету патронов для револьверов... — Вахмистр откашлялся и выкатил грудь. — Значит, в каждой коробке по двадцать штук патронов... Сколько же коробок, и все ли они полные?.. — И зло посмотрел на девушек через спущенные на нос очки. — К чему за тридевять земель везти полупустые коробки? Ясно — все полнехоньки! — Он погремел коробками. — Кашин, проверь-ка коробки.

Кашин, гордый доверием, медленно и важно начал перекаладывать коробки, поднося каждую к уху. И опять замерла комната. Люди сдерживали дыхание, боясь помешать Кашину в его занятии. И Кашин священнодействовал. С отвисшей челюстью. С мясистым и злым лицом. С полузакрытыми глазами. И насупленными брова-

ми. С оттопыренными ушами и шапкой, зажатой между колен.

Наконец положил последнюю коробку на крышку стола и, вытирая лоб тыльной стороной ладони, прохрипел:

— Кажись, все полнехоньки! — И, глядя ненавидящим взглядом на Генкину, запричитал: — Для кого везла, стервь, патроны... Против кого готовилась стрелять? В меня, верного слугу царя-батюшки... — Кашин смахнул рукой пьяные слезы: — Стервь вонючая... Таких мало вешать... Нужно собственными руками душить... Давить в чреве матери...

Вахмистр одобрительно качал головой. Ему вторил и жандарм с усищами, и напарник его:

— Вешать... Вешать... Для кого патроны привезла? Ась?

Генкина презрительно молчала. Молчала и Князева. События приняли самый неожиданный оборот. Вахмистр оказался намного опаснее, чем предполагала Генкина. Вместо того чтобы отправить ее в полицейский участок, начал сам разбирательство, да с такой пристрастностью и недоброжелательностью.

— Значит, четыреста патронов! Четыреста! — произнес вахмистр не без удивления. И глаза его округлились. — Четыреста... Вот так дамочка... И патрончики-то таскает не десятками, а сотнями...

— Полтыщи... Полтыщи. — Ошалело повторила Полякова, теребя белый фартук с оборками. — Полтыщи...

— Эдак батальон солдат можно перестрелять! — закончил Кашин. — Аж четыре сотни...

В толпе возникло движение. Казачья сотня в глазах обывателей была грозной силой, способной в страхе держать целую фабрику. А тут патронов в чемодане ровнехонько на четыре сотни! Вот на таких, в бурках и в штанах с красными лампасами! С шашками наголо!..

И Кашин с ненавистью уставился на Генкину. Еще и девчонку прихватила с собой — значит, не только пат-

роны привезла, небось и золото для покупки оружия. О том, что оружие на вес золота, знало все Иваново. И нелепая мысль о золоте, которое якобы привезла барышня из Москвы, стала реальностью. Золото... Золото... Золотой блеск, превыше которого для Кашина ничего не было, закружил, замаячил, увлекая и покоряя. Золото, якобы привезенное в Иваново, захватило его целиком.

Протокол составили. Записали десять смит-вессонов, нехитрые пожитки и четыреста патронов. Коробки вахмистр проверил сам, придирчиво пересчитывал. Понятые скрепили протокол подписями. Правда, Генкина не подписала протокол и в очередной раз отказалась назвать свою фамилию. Ее раздражала атмосфера психоза и вражды, которую быстро и умело создал на вокзале вахмистр Ганыкин. Да и пьяный Кашин, напичканный черносотенным бредом и патриотическим угаром, вызывал чувство гадливости. Даже в привычном российском беззаконии творился отчаянный произвол. Ее, арестованную, не препровождали в полицейский участок, не отправляли в тюрьму, а продолжали почему-то держать на вокзале в комнате дежурного жандарма, который распространял провокационные и бредовые разговоры. Вахмистр, взывая к низменным чувствам черносотенцев, обыгрывал факт обнаружения оружия. Теперь начинал плести ахиною о золоте, якобы так умело запрятанном, что найти его пока не удалось.

Генкину держали с Князевой в жандармской комнате, как редкостных зверей, созывали народ, показывали, чтобы поглазели... И толпа кричала, шумела, грозила... Почему это нужно делать? Почему? В комнате трудно дышать — так много набилось людей. Какие-то кликуши, оборванцы с испитыми лицами и лихорадочными глазами. Нет, это не неопытность вахмистра. Дело обстоит хуже, значительно хуже...

— У той, у московской-то, золотища уйма... Хотели ее обыскать, так, змея, не далась... Отвела всем глаза и сказала, что ничегошеньки нет. Ничегошеньки... А ре-

вольверы-то отдала да с тысячей патронов, чтобы защищать золото от чужого глаза. — Полякова выслушивала какую-то нищенку с мешком за плечами и крючковой палкой. Выслушивала внимательно, и глаза ее горели. — Тысячи тыщ... Вот какую деньгу несметную привезла барынька...

Генкина не сразу поняла, что речь идет о ней, — да и как увязать несметные тыщи с теми скромными пятью золотыми монетами, которые мама дала на первые месяцы самостоятельной жизни в Иванове. Полякова — женщина неприятная, но вполне нормальная и не такая дремучая, как нищенка. И верит небылицам?! Страшная вещь — алчность! Да и бабуля каким-то образом забрела в жандармскую комнату, ослепла от феерического блеска золота?! Гм... Станный народ...

— Господин Ганыкин, я требую, чтобы меня отправили в полицейский участок... В крайнем случае — в тюрьму. — Генкина встала и говорила решительно, подчеркивая слова движением руки. — Девушку, которую упорно присоединяете к делу — вам хочется создать именно дело о недозволенной доставке оружия, — я не знаю, о чем и делаю официальное заявление. За все последствия буду нести ответ одна. На все вопросы отвечать отказываюсь, виновной себя не признаю и от подписания протокола также отказываюсь. Более того, учитывая атмосферу, напоминающую золотую лихорадку романов Джека Лондона, и тот факт, что пребывание в жандармской комнате начинает становиться небезопасным, требую оградить мою жизнь...

Вахмистр мерил девушку злыми глазами. «Виновной себя не признаю и от подписания протокола отказываюсь» — знаем мы такие слова. Нет, голубушка, в тюрьму-то тебя не отправлю. Здесь, на вокзале, и следствие проведу, и вину докажу. И сказал грубо:

— Мы не обыскали вас, барышня... Обнаружили только револьверы да патроны... Это в чемодане. Но совершенно неизвестно, что на себе изволите перевозить. —

Вахмистр обернулся к Кашину и принялся рассказывать: — Однажды сняли с поезда студента почти без сознания. Бледный. Глаза мутные. Стали растирать виски нашатырем. Я на нем курточку расстегнул, чтобы дыхание сделать посвободнее. На нем жилет с карманчиками — и в каждом запал для бомб. Запалы-то миндальный запах испускали — вот он и сомлел... От большой беды я тогда народ спас.

Послышался грохот колес. Станция вздрагивала от могучего и грозного дыхания. Громадная масса неотвратимо надвигалась. Паровоз тяжело вздохнул и застыл, лязгнув буферными тарелками. Свист... шипение пара... Вся Россия куда-то торопливо и суетно бежала. Ольга явственно ощутила колебание дощатого пола и вздрагивание половиц под ногами. И стены медленно уплывали. Да что за чушь... Ольга встряхнула головой. Черные точки перед глазами завихрились роем, подобно пчелиному. Да-с, напряжение чудовищное... Нужно взять себя в руки. К ее великому удивлению, толпа, набившаяся в жандармскую комнату, не уменьшалась, а, став плотнее, нарастала, подобно снежному кому. В распахнутую дверь видно зал третьего класса с облупленной штукатуркой и сизым дымом. Под напором людей, спешивших на прибывший поезд, дверь, как флюгер, сохраняла неподвижное положение.

— Для чего дамочке везти револьверы да патроны в град Иваново-Вознесенск? Для чего? Может, хотела вернуть десять револьверов воинскому начальству взамен тех, что украли большевики?! Сколько оружия-то поотбирали большевички у слуг царя и народа! На одной Талке, будь она проклята, поотнимали гору. — Кашин откашлялся и, стараясь перекрычать перестук вагонов, вновь сотрясавших деревянное здание, горланил: — Нет, мы, слуги царя и отечества, не допустим ни Талки, ни нового городского Совета... Оружие эта негодяйка привезла, чтобы поддержать смуту в нашем городе... Поди, везла его антихристу под именем Отец... Слава

богу, убиенному... — И опять Кашин перекрестился. Вот, мол, какой христианин — о павшем и заблудшем без гнева вспоминает. — Дамочка явно из компании Отца... Ему оружие хотела передать. — Кашин уже не играл в сомнение. Твердо рубил рукой воздух. — Выдайте народу крамолку, чтобы сам народ и решил ее судьбу!

Кашин грузно прыгнул со скамьи, на спинке которой чернели резные буквы, утверждавшие принадлежность к железной дороге. И сразу взметнулись голоса, забились под дощатым потолком:

— Крамолку... Крамолку...

Ольга смотрела удивленными глазами на разъяренную толпу. Разумеется, Кашин в сговоре с вахмистром. Как это она сразу не поняла! И спектакль поставили по хорошо разработанной пьесе. «Крамолку выбросить толпе на самосуд!» Об этом может безответственно болтать Кашин, подонок и черносотенец, но вахмистр-то — представитель закона!.. Он не должен потакать низменным инстинктам толпы, а обязан передать их с Князевой в участок, чтобы там начали следствие по всей форме. В такой законной форме следствия власти должны быть заинтересованы. Ольга усмехнулась своей наивности. Как это она сразу недооценила вахмистра, его опыта и ненавистки к революционерам. Разумеется, он нюхом понимал, что от арестованной никаких сведений не получит. Поди, немало повидал революционеров и отлично знал, к кому можно обращаться с вопросами, а кого следовало ликвидировать сразу. Вот и она попала в эту категорию.

— Сколько денег у дамочки нашли в чемодане? Золото али еще чего... — на скамью взгромоздился кто-то из крючников.

Кашин стащил со скамьи этого оборванного человека. Вид ужасный. Лицо распухло от перепоя. Глаза под набрякшими веками. Руки дрожали. Шея обмотана рваным шарфом. Живой мертвец. И только кадык двигался, когда кричал:

— Где золото?

— Ти-хо! Золото пока не нашли. Дамочка припрятала его подальше... В чемоданчике-то одни револьверы да патроны... — Кашин налился кровью. Он больше не сомневался. Золото обязательно должно быть. И это золото казалось собственным, ему одному принадлежащим. — Что там церемониться с барынькой... Золото давай...

И опять закричала толпа злыми безумными головами:

— Золото... Золото отдай...

— Не Иваново, а Клондайк... И задержали не простых девушек, а крупных кладоискателей и золотодобытчиков... — Глаза Ольги Генкиной стали веселыми, и губы вздрагивали в усмешке. — Нет, вы только послушайте: «Золото... Золото...»

Князева с удивлением глядела на Ольгу. В такую минуту — и смеяться?! Искренне и в счастливом забытии... Крики внушали один ужас и страшные мысли, что ее, бедную, начнут бить, терзать... И никто не защитит. Никто! Нет, защитит эта незнакомая девушка, которая, посмеиваясь, слушает угрозы. Собой прикроет, заслонит... И все же непонятно, как она может с такой невозмутимостью на все взирать, удивляясь безумству толпы.

— Нет, вы послушайте: «Золота... Золота...» Еще немного, и толпа начнет требовать: «Хлеба и зрелищ!» — наподобие римской... — Генкина сжала руку Князевой. — Успокойтесь, товарищ... Власти обязаны нас отправить в тюрьму. За самосуд чинов полиции по головке не погладят.

Генкина прочтала на лице Князевой страх, в расширенных зрачках — ужас. Плохо, закалки нет... И, повинаясь молчаливой мольбе, обратилась к вахмистру:

— Вы, от греха подальше, нас отправьте в тюрьму...

— Каким образом... По воздуху, что ли? — обозлился вахмистр, уловив легкую насмешку в голосе задержанной. — Легко сказать — отправьте... отправьте...

— Как говорится, это — ваша забота. Страсти распалили сами... За нашу безопасность вы в ответе... След-

ствия не пытайтесь вести — не по зубам! — Генкина озорно сверкнула глазами и повторила с прежней беззлостью: — Не по зубам, голубчик...

И Князева, посмотрев на растерявшегося вахмистра, хмыкнула.

«Действительно, не по зубам, — зло подумал вахмистр, — видно птицу по полету. Хотя бы ротмистр Левенец поскорее приехал».

Это признание было поражением. Вахмистр так торопился, желая провести следствие и раскрыть преступление, казавшееся столь необходимым для карьеры, так хотел удивить Левенца и доказать, как его затирают и недооценивают, что вопреки закону в тюрьму задержанных не отправил. Все хотел сделать самолично... И ненависть была лютая... И этим неожиданно развивающимся спектаклем девушки были обязаны ему одному. И Кашина взял в подручные. Тот понял его с полуслова и созвал босяков да погромщиков... Этому сброду он хорошо знал цену. Но девица проявила такую силу и самообладание, что он понял — не так-то просто с ней справиться, а справиться было очень нужно. Только как? Он пытался взять на испуг. А девица насмешничала, и в какой момент?! Толпа лютовала, гремела, и ему становилось страшно — действия толпы непредсказуемы. И опять девица посмеивалась. Да, в такую минуту только мужественный человек мог не потерять разум... Смеяться на пороге смерти... Значит, и ему ее не напугать и правды не узнать. Толпа, злая и дикая, обрушится валом и может растерзать и его, вахмистра. Народ — дурак, о золоте кричит и золота требует. Кашина аж скрючило — и впрямь поверил в золото. Такой отца с матерью не пожалеет — золото из груди вырвет. Нужно поскорее закончить все лицедейство, как говорила эта девица, обвиняя его в предумышленных действиях.

— С людьми следует умело обращаться. Конечно, они обмануты и одурачены вами... В настоящий момент они подобны джинну, выпущенному из бутылки, с кото-

рым совладать не можете... — Генкина требовательно посмотрела на вахмистра. — Отправьте нас в тюрьму... Наконец препроводите на поезде во Владимир или в Москву, как я уже советовала... Это будет проще сделать...

Вахмистр хотел возразить, но помешал Кашин. Он куда-то исчезал и явился, подталкивая в жандармскую комнату щупленького человека. Почти мальчика. С черными глазами. Едва пробивающимися черными усами. И курчавой бородой. И кровоподтеками на лице. Кашин держал его за лацканы куртки и тряс изо всех сил.

— Гаденыш... И ты в революцию... В трактире Митрофанова листовки разбрасывал и народ к бунту призывал. — Кашин бросил вахмистру на стул пачку листовок. — Я пошел в трактир рюмочку пропустить — горло-то пересохло, а там этот...

— Отпустите парня... Отпустите... И оскорблять не смейте. — Генкина с бешенством смотрела на Кашина, пытаясь помочь незнакомому юноше. — Я напишу прокурору, что человека избивали, не зная его вины, избивали в присутствии представителя властей... А вы, грязный тип, убирайтесь вон... Идите к толпе и продолжайте заниматься подстрекательством... не смейте прикасаться к человеку!

Вахмистр с удивлением смотрел, как изменилось лицо задержанной. И поведение какое... словно разъяренная тигрица. В глазах гром и молнии. И в голосе металл. И распрямилась, как пружина. Нет, откуда только силы берутся?! И Кашин обмяк. Ссутулился и будто присмирел. Ошалело уставился на Генкину и вышел, погрозив в бессильной ярости кулаком.

Генкина дружески посмотрела на молодого человека и, протянув руку, спросила:

— Как звать? Почему попали в историю?

— Семен, — тихо ответил молодой человек, испуганный ужасным гулом и криками, обступившими его со

всех сторон. — Я тут прокламации раздавал, а этот налетел, схватил... — Семен виновато развел руками.

— Бывает, товарищ... По воде ходить да сапог не замочить — дело невозможное. Возьмите себя в руки... Вы не один, и мы рядом. — Генкина прищурила глаза и сказала серьезно: — От смерти мне не уйти, но вы держитесь!

Вахмистр не стал оформлять протокол. Молодой человек, как ниспровергатель существующего строя, его не интересовал. Нет, все зло в этой, приехавшей из Москвы. Она и здесь словно острое группы, единственное зло и бедствие.

— Бей политиков! Бей! — гремел сиплый голос Кашина.

— Опомнися? — презрительно процедила Генкина. — И слова произнес единственные, идущие из самого сердца...

В дверях появился жандармский ротмистр Левенец. Подтянутый. Щеголеватый. С умным и энергичным лицом. В жандармскую комнату пробрался с трудом. Путь прокладывал здоровенный детина. С оплывшим и бесформенным от долгого пьянства лицом.

— Тоже подстрекатель! — ядовито сказала Генкина и, оглядев ротмистра, потребовала: — Наведите порядок...

Вахмистр втянул живот, выкатил грудь и поднялся из-за стола. Сказал вкрадчиво, виновато:

— Посылали за вами, да прислуга передала, что изволили уехать на охоту... С благополучным прибытием... Задержал дамочку при попытке забрать чемодан с оружием с вокзала. Составил акт об изъятии десяти револьверов и четырехсот патронов... Вместе с приехавшей оказалась и девица из местных. — И он показал рукой на Князеву... — Перед вашим прибытием доставили и этого парня... Кашин его взял в трактире, занимался распространением прокламаций.

Левенец нахмурился: чурбан, настоящий чурбан, и

доложить-то толком не умеет, а амбиции на пятерых. Он был сердит. Он и раньше уезжал в служебное время на охоту, но без огласки. А тут... Нехорошо, коли все узнают. Так и до начальства-то дойти может — ни радения, мол, ни прилежания. И этот идиот орет во все горло, что был на охоте. А ему какое дело? Левенец поморщился. События развивались грозно. Гул, крики толпы ему, новому человеку, казались оглушительными.

— Бей политиков!

— Крамолку... Крамолку выдайте!

Жандармская комната трещала под ударами толпы. В окнах, начинавшихся от самого пола, виднелись десятки лиц. В гримасах. Злых. Перекошенных от крика и ненависти. И пьяных. Словно картина плохих художников, изображающих страшный суд.

«И откуда весь этот сброд собрался на вокзале?» — подумала Генкина.

— Крамолку!!! Крамолку!!!

Это кричал Кашин. Красный от натуги. С маленькими глазами на потемневшем лице.

«Значит, и толпа собрана Кашиным. — Левенец угрюмо молчал. — Страшный человек этот Кашин. Конечно, по времени нужный, но настолько нечистоплотен, что лучше держаться от него подальше».

Ротмистр Левенец осмотрел задержанных. Лицо Генкиной привлекло внимание. Красива-то как! Ни испуга, ни паники. Казалось, что к событиям, грозившим закончиться трагедией, она не имела ни малейшего отношения. Лишь бросала взгляды на соседку, полные участия и озабоченности. Пожала руку молодому человеку, назвавшемуся Семеном и задержанному с прокламациями все тем же Кашиным.

— Почему казаки не навели порядка? — Левенец с нарочитой строгостью уставился на вахмистра. — Казаки стоят на площади... Целая сотня... Давно они здесь?

— Я их вызвал, опасаясь за спокойствие на станции. Участия в событиях они не принимают... Народ, собрав-

шийся на станции, настроен монархически, и я боялся оскорбить их патриотические чувства вмешательством казачков.

— «Монархические чувства»! Гм... — Генкина развела руками и искренне рассмеялась. — Разбой, хулиганство, крики о золоте, которое якобы хранится у меня. Пьяная, орущая толпа... И такая толпа, по вашим словам, охвачена монархическими чувствами!.. Бедная, бедная Россия, коли патриотические чувства пробуждаются звериными инстинктами. И чувства эти представители власти называют монархическими... Какой же сброд собрали под царские знамена в Иванове?! Этого сброда боится и полиция! Интересно-то как...

Как и вахмистра, ротмистра Левенца потрясло, как просто и искренне иронизировала девушка в такой момент. В воздухе гроза. Крики о золоте, к которому рвалась толпа, становились нестерпимыми. Страшной силой обладало золото. Кашин постарался, он-то хорошо знал толпу. Вот и распустил слух о богатстве, якобы привезенном женщиной. В глазах толпы все действия большевички (в этом ротмистр Левенец не сомневался) легче оправдать золотом, чем идейными принципами. Золото... Золото... Золото, которое они надеются отобрать у женщины, даст им возможность беспробудно пьянствовать и ощущать недоступную им сладость власти. Комплекс неполноценности пьяного человека, изуродованного социальной несправедливостью, проявлялся все явственнее. Казалось, Генкина и ненависти к этому сброду не имеет. Жалость, одна жалость к обманутым и отвергнутым людям.

Левенец почувствовал всю незаурядность этой женщины. Сила ощущалась во всем: и в самообладании, в убежденности, в доброте к товарищам. «Конечно, из тех, кто берет все на себя». И неприязнь захлестнула его сердце.

— Господин ротмистр, такое злодеяние вы творите в угоду монархическим чувствам толпы?! Речь идет о жиз-

ни троих неповинных людей. — Генкина старалась поймать взгляд ротмистра.

— Неповинных людей?! — зло отпарировал ротмистр, показывая на разложенные револьверы и патроны.

Револьверы и патроны, лежавшие на столе, были хорошо видны тем, кто прилип к стеклам с лицами, напоминавшими маски. Подобно красному цветку, оружие будоражило их воображение. Вахмистр запретил писарю убрать оружие в чемодан. Пусть все видят улики — не без повода задержали дамочку. А теперь прибавилась пачка прокламаций. Смотрите, люди хорошие, полюбуйтеся злодейством!

— С позиции исторической, конечно, неповинных, вы и сами понимаете, — отрезала Генкина. — Времени мало, скоро накал страстей, тщательно раздуваемый вашими коллегами, — и опять в голосе насмешка, — словно костер на ветру, перекинется и захлестнет эту жалкую комнату. Иными словами, вы, представитель власти, сознательно отдаете нас на самосуд... Думается, за такой способ расправы вы понесете ответственность. И суровую.

— Ответственность?! — побагровел ротмистр.

— Ответственность и наказание. Историческая правда за нами, большевиками. В памяти народной хранятся все дела — и добрые и злые. И народ с каждого спросит за зло... Помянет и тех, кто отдал за его счастье жизнь. И умирать нам, за которыми стоит будущее, не страшно. Не в мягкой постели будем умирать, а, как солдаты, на поле брани. Суда истории, господин ротмистр, не избежите. И страшным будет возмездие вам, убийцы!

Генкина прищурила глаза и долгим взором смотрела куда-то вдаль.

Левенец с ненавистью слушал женщину. Что-то вечное и неотвратимое звучало в ее словах. Сердце заныло от тяжких предчувствий, от обиды и бессилия. Вот и молодой человек посветлел лицом, и девица из фабричных вскинула голову. Слепцы... Безумцы... Мечтают о социа-

лизме и готовы умирать с гордо поднятой головой, словно не слышат ни пьяных криков, ни как трещит от удара дверь.

— Прикажете диваном подпереть дверь. — Распорядился ротмистр Левенец вахмистру и взглянул на Генкину: вот цена философии!

Девушка ничего не ответила, посмотрела на него с жалостью, словно на убитого. Нет, она знала другие горизонты и другую правду.

— Дайте револьвер. — В голосе Генкиной спокойствие, лишь в глазах расширились зрачки. — Спасти нас невозможно... Кстати, вам самое время покинуть жандармскую комнату, которая уподобилась пороховому погребу. Вот-вот произойдет несчастье. Ворвется толпа громил и убийц. Я смерти не боюсь, но зверства испытывать не хотелось бы... Дайте револьвер...

Ротмистр Левенец вздрогнул и протянул конверт. Обычный почтовый конверт. Времени не имел разыскивать на столе чистую бумагу.

— Напишите свою фамилию... Имя... Место вашего постоянного жительства...

Генкина кивнула головой. И вдруг выплыло лицо мамы, Прасковьи Андреевны, Надюши... Такие близкие и до боли знакомые. Какое горе для них будет получить известие о смерти дочери и сестры!

Твердым и ровным почерком написала фамилию и московский адрес. Ротмистр взял конверт и аккуратно положил в карман. Значит, и женщина поверила в неотвратимость смерти, иначе фамилию бы под пыткой не сказала. Удивительные люди. Ротмистр еще раз утвердился в принадлежности Ольги Генкиной к большевикам.

— Спасайтесь, ротмистр... А то и вас ваши же друзья ненароком убьют заодно со смутьянами. Думали смерть приготовить нам, а в капкане окажетесь и вы. Может произойти и такой конфуз... — Генкина показала на расплющенные и орущие лица, прижавшиеся к стеклу.

Жандармы с осторожностью приоткрыли двери и громко кричали, пытаясь образумить толпу. Ротмистр трусливо прошмыгнул из комнаты, сотрясаемой, как при шторме. Нет, его не убьют. Кашин взял его под свою охрану, оттолкнув какого-то громилу. Кашин и проведет через толпу, прикрывая собой. Какой многозначительный взгляд бросил на задержанных на прощание ротмистр — конечно, он обрекал их на смерть. Своим бегством руки развязал толпе. Порядочки! Вот так просто взял и бросил троих молодых людей на растерзание. Писарь с ошалевшими от ужаса глазами метался по жандармской комнате. Он мучительно боялся этой гудящей и орущей толпы.

И еще какой-то скрежет металла примешивался к крику толпы. Неприятный. Стонущий, словно звон кандалов. Такой звон слышался в тюрьме, когда кандалников выводили на прогулки. Ближе. Ближе... В казематах этот звон не скрадывали двухметровые стены. И здесь, на вокзале... Генкина потрясла головой. Как странно! Галлюцинация? Нет, она галлюцинациями не страдала.

Комната сделалась маленькой, зажатой со всех сторон сотней людей. Вздрагивала висячая лампа. Скособочился на стене от ударов царский портрет. И лицо Николая Второго с пустыми глазами стало испуганным. Дверь трещала от ударов и грозила сорваться с петель. Диван, подпиравший ее, тяжело скрипел. Высокая спинка с зеркальной полочкой наклонилась. Посыпались осколки разбитого зеркала. Видно, наступал конец. Ольга подошла к Анне Князевой и крепко ее поцеловала. Пожала руку Семену.

— Сейчас ворвутся, — тихо сказала она и с невыразимой тоской посмотрела в окно, где едва белел крошечный просвет. — Ворвутся...

И сразу гул, подобный горному обвалу, проник в жандармскую комнату. Придавил и заполнил все. Генкина вскочила со стула и в последний раз поглядела на Князеву. Значит, все же свершилось... Глазами указала

Князевой место под столом. Важно выдержать первые мгновения. Стол широкий с двумя тумбами и большим промежутком между ними. Князева юркнула под стол. Дверь высадили, сорвали с петель. Со скрипом отодвигался диван и с неестественной прямо́той отступали двери в глубину жандармской комнаты. Одни. Без людей. Гул. Крик. Но вот двери начали наклоняться и падать. Озверевшая толпа, все круша и опрокидывая, ворвалась. Какие страшные лица. Какое остервенение в глазах. Какие огромные кулаки подняты в воздух. И эти глотки. Оружие. Беспощадные. Нет, черносотенцев нужно остановить — ведь они же люди!

Ольга Генкина бросилась навстречу толпе:

— Товарищи... Товарищи, опомнитесь!

В который раз протяжно пронесся кандалный звук. Ольга Генкина невольно прислушалась. Ах да, это бряцали крючья на поясах у артельщиков, крючья, которыми подхватывали кипы хлопка при разгрузке вагонов, прибывающих в град Иваново.

Огромный детина с искаженным от злобы лицом поднялся медведем. Размахнулся и, выхватив из-за пояса стальной крюк, бросил его в лицо Генкиной. Оранжевое кровавое зарево запылало кругом. «Значит, это не кандалы, а крючья», — вновь вспыхнуло в ее сознании. Уши распирало от нестерпимой боли. И лицо матери выплыло в ее помутившемся сознании.

Толпа вытащила Ольгу Генкину в зал ожидания. И опять били. Пассажиры испуганно шарахнулись, и открылся проход. Какая-то женщина громко плакала и мелко крестилась, по дряблым щекам катились слезы.

Ольга с неожиданной силой отбросила крючника, державшего ее, и бросилась бежать по залу. Голова болела от ударов, и зал качался, как при качке.

Вот уже и желанные двери, и там свобода... Свобода... Еще, еще немного.

Мастеровой в промасленной куртке шмыгнул в сторону и освободил дорогу.

— Держи крамолку! Держи! — кричал истошным голосом Кашин.

Ольга грудью налетела на дверь. Дверь распахнулась, и открылась вокзальная площадь. С голубым небом. Она жадно глотнула морозный воздух. Сплошной серой массой застыли казаки на лошадях, ограждая площадь. И все же Ольга не теряла надежду. Бежать... Бежать... Вниз по ступеням. Будто осиный рой вывалился на площадь. Ольгу настигла толпа. Толпа кричала, бушевала. И казаки не шелохнулись, неподвижные, вросшие в морозную землю. И опять все пространство заполнил звон. «Нет, нет, это не кандалы...»

И новый удар... Ольга качнулась. Краски померкли. Звон угас.

СОДЕРЖАНИЕ

Мария Голубева	3
Татьяна Людви́нская	41
Ольга Генкина ,	111

Морозова В. А.

М 80 Путь в революцию: Повести. — М. : Мол. гвардия, 1986. — 221 с., ил. — (Молодогвардейская Лениниана).

60 к. 100 000 экз.

В маленьких повестях, в основе которых лежат наиболее значительные и яркие эпизоды из жизни героинь, автор воссоздает атмосферу революционной борьбы.

Повести о Марии Голубевой и Татьяне Людвинской печатались в сборниках, повесть об Ольге Генкиной вышла отдельным изданием — «Чемодан в сером чехле».

М 0103020000—148
078(02)—86

ББК 84Р7—4

ИБ № 4648

Вера Александровна Морозова

ПУТЬ В РЕВОЛЮЦИЮ

Редактор **Е. Калмыкова**

Художник **В. Белоусов**

Художественный редактор **К. Фадин**

Технический редактор **Е. Михалева**

Корректоры **Н. Самойлова, А. Долидзе**

Сдано в набор 09.01.86. Подписано в печать 05.05.86. А01531.
Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура
«Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 9.8.
Усл. кр.-отт. 10,13. Учетно-изд. л. 10,4. Тираж 100 000 экз
Цена 60 коп. Заказ 2485.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типо-
графии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

Scan, DJVU: Tiger, 2019

В серии
«МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ ЛЕНИНИАНА»
ВЫШЛИ КНИГИ:

Амбарцумов Е. А. Ленин и путь к социализму.

Васильева О. В. «Отчизне посвятим...»

Великий друг молодежи. *Сборник.*

Горький М. «Мой друг, великий человек...»

Зубов Н. Н. Они охраняли Ленина.

Ленин в Шушенском встречает XX век. *Сборник.*

Ленинцы. *Сборник стихотворений.*

Подписаны Лениным. *Документы, письма,
воспоминания.*

Поляновский М. Л. Мы видим Ильича.

Стихи о Ленине. *Сборник.*

Студенты Ульяновы. *Сборник.*

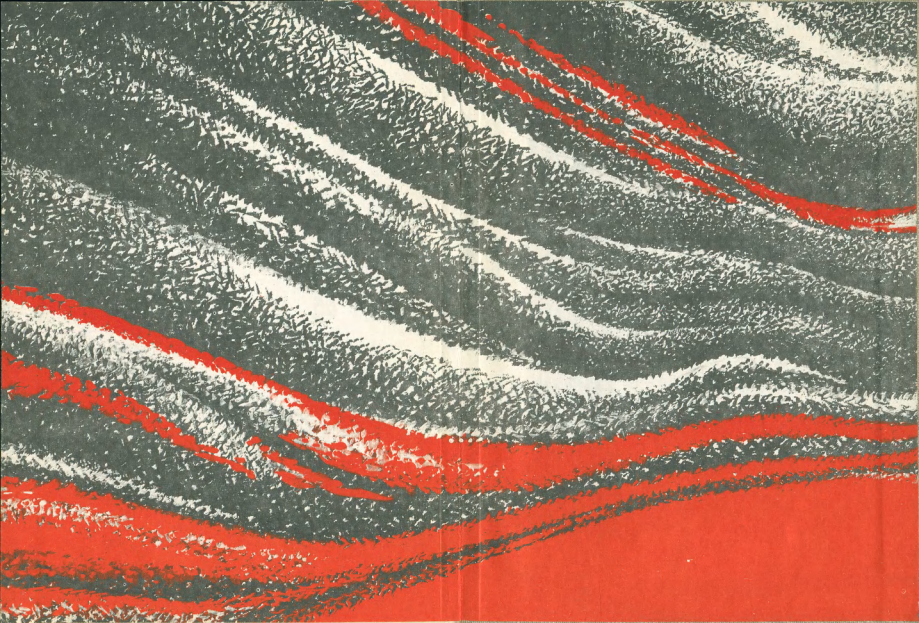
Трофимов Ж. А. Великое начало.

Трущенко Н. В. Сплоченные словом Ильича.

Чикин В. В. Круг на великом круге.

Шагинян М. С. Лениниана.

Шагинян М. С. Четыре урока у Ленина.



65-77

MOON BEEHIVE